

An impressionistic painting of a narrow street in a European town. In the foreground, a young woman with dark hair and a red flower in it stands on the left, wearing a dark coat over a light-colored dress. To her right, two men in dark coats and hats are walking away from the viewer. The street is lined with old buildings featuring colorful shutters and balconies. The background shows more buildings and a glimpse of a courtyard. The overall style is soft and painterly, with visible brushstrokes.

# О СТАРЫХ ЛЮДЯХ,

О ТОМ, ЧТО  
ПРОХОДИТ  
МИМО

*Луи Куперус*

# Луи Куперус

## О старых людях, о том, что проходит мимо

*Текст предоставлен издательством*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=24438633](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24438633)*

*О старых людях, о том, что проходит мимо: Геликон Плюс; Санкт-Петербург; 2016*

*ISBN 978-5-9906596-7-4*

### **Аннотация**

Роман Луи Куперуса, нидерландского Оскара Уайльда, полон изящества в духе стиля модерн. История четырех поколений аристократической семьи, где почти все страдают наследственным пороком – чрезмерной чувственностью, из-за чего у героев при всем их желании не получается жить добродетельной семейной жизнью, не обходится без преступления на почве страсти. Главному герою – альтер эго самого Куперуса, писателю Лоту Паусу и его невесте предстоит узнать о множестве скелетов в шкафах этого внешне добропорядочного рода.

# Содержание

Предисловие переводчика	7
Часть первая	13
I	13
II	39
III	51
IV	64
V	76
VI	83
VII	91
Конец ознакомительного фрагмента.	97

**Луи Куперус**  
**О старых людях, о том,**  
**что проходит мимо**

© Михайлова И., перевод, 2016

© «Геликон Плюс», макет, 2016

\* \* \*



*Луи Куперус*  
1863–1923

# Предисловие переводчика

Луи Куперус (1863–1923) – самый изящный и самый чарующий прозаик в нидерландской литературе за всю ее историю: достаточно прочесть несколько строк, написанных его необыкновенным, нарушающим правила нидерландской грамматики, изысканным пером, как погружаешься в неожиданно многомерный мир кипящих людских страстей, мир одухотворенной и таинственной природы, мир мерцающей красоты, отдающий пряным привкусом декаданса. Куперус родился в аристократической семье в Гааге, но значительная часть его детства прошла в Нидерландской Индии, среди таинственной тропической природы, что, несомненно, наложило отпечаток на его мироощущение. Став взрослым, Куперус много путешествовал, в том числе по Греции, Алжиру, Египту и Японии, и подолгу жил за границей, предпочитая Лазурный Берег побережью Северного моря. Его творчество представляет собой удивительный синтез множества настроений и идей, витавших в воздухе на рубеже XIX–XX веков. Пристальное внимание натуралистов к наследственности, среде и патологическим проявлениям человеческой природы сочетается с эстетизмом и дендизмом; интерес к анархизму и вопросам социального устройства соседствует с увлечением мистицизмом; бесстрашие, с которым анализируется и изображается любовь (в том числе однополая), не вступает в

противоречие с морализаторством. О чем бы ни писал Куперус, какие ужасные сцены ни разворачивал бы перед взором читателя (убийства, лужи крови, трупы, сбрасываемые в реку) – все это происходит на фоне чего-то сказочно-красивого: тропической природы, утонченных гаагских будуаров и салонов, фантастических гор; Куперус всегда остается аристократом и рафинированным эстетом.

Куперус стал популярен в Европе уже при жизни, о чем свидетельствуют многочисленные упоминания о нем во всех обзорах голландской словесности в дореволюционных русских журналах (ссылающихся на английскую, французскую и немецкую периодику), и тот факт, что Оскар Уайльд в 1892 г. прислал ему в знак уважения свой недавно вышедший «Портрет Дориана Грея» и письмо. С 1902-го по 1907 г. в Петербурге вышли переводы четырех романов Куперуса. После этого он на русский язык до сих пор не переводился.

Чтобы почувствовать, каким видели Куперуса русские читатели Серебряного века, приведем фрагмент из статьи 1902 г. его переводчицы Е. Половцевой. Статья свидетельствует о хорошем знании и понимании его творчества.

«Луи Куперус – наиболее известный из современных голландских писателей – родился 10-го июня 1863 года и принадлежит к кружку молодых писателей Голландии. Несмотря на свою молодость, литературный талант голландского беллетриста уже успел представить в своем развитии три яркие периода, из которых каждый всецело выразился в его



произведениях.

Когда в 1889 году Л. Куперус выступил в печати со своим романом „Элине Вере“, критика сразу его заметила и вскоре отвела ему почетное место в ряду писателей натуралистической школы, главою которой считается Эмиль Золя. По мере появления следующих затем романов Куперуса „Noodlot“ („Судьба“), „Extaze“ („Экстаз“), „Eene illuzie“ („Одна иллюзия“) – его неоднократно не только сравнивали с французским автором, но даже называли „голландским Золя“.

Все названные романы – патологического характера. Болезненное, пессимистическое направление многих талантливых людей конца XIX века, разработка явлений гипнотизма, сомнабулизма, авторитетные взгляды светил науки на гениальность, вырождение, наследственность (Шарко, Ломброзо и др.) – все это отразилось в жизни, из которой брал свои сюжеты молодой начинающий писатель. Болезни воли, скорбь души, неудовлетворенность – вот главные мотивы героев и героинь Куперуса. Он берет людей прямо из жизни, тех, которые его окружают, которых он ежедневно видит вокруг себя.

Л. Куперус в своих первых романах, несомненно, натуралист, но в то же время он – романист-поэт, как и все голландские беллетристы. В его произведениях читатель находит не только одну живую фотографию действительности, но и видит ясно идеалы автора, его стремления заставить своих ге-

роев, больных болезнью воли, выздоравливать душевно благодаря нравственным усилиям над собою. Вдобавок Л. Куперус – субъективный писатель. Он заставляет нас не только интересоваться его героями и героинями, но и симпатизировать им, желать им успеха. Среда, в которой они вращаются, буржуазно-аристократическая, салонная и будуарная.

Большой талант Куперуса и богатейшая фантазия, составляющая его отличительную черту, не дали молодому писателю замкнуться в тесных рамках салонного романа, и вот начинается его второй литературный период. Вслед за романом „Metamorfoze“ (1897) Куперус совершенно оставляет патологию. Его произведения „Majesteit“ („Его величество“), „Wereldvrede“ („Всемирный мир“) и „Hooge troeven“ („Большие козыри“) встречены были критикою еще с большим сочувствием, нежели предыдущие романы. В этих произведениях Куперус порывает окончательно нити, связывавшие его с субъективизмом. И талант его приобретает свободный полет, дающий ему возможность возвыситься над тем мирком, к которому относятся его творения. Он желает оставаться реалистом, хотя идеалы его так высоки, что не могут в наше время осуществиться и потому остаются идеалами.

С этого момента Куперус как художник пожелал снять с себя последние оковы шаблонности, и это стремление его, по отзыву всех критиков, имело огромное влияние на его стиль. Он перешел к сказочной форме, и его последние произведения – „Psyche“ („Психея“), „Fidessa“ („Фидесса“) и

„Babylon“ („Вавилон“) носят на себе характер фантастический, символический.

Фантастический роман „Психея“ появился в голландском журнале „Gids“. Он написан чрезвычайно красивым поэтическим языком, представляющим для перевода большие трудности, так как автор, во избежание германизмов (за что соотечественники его особенно жалуют), составляет совершенно новые слова, неупотребительные в голландском языке».

В 1902 г., когда были написаны эти восторженные строки, Куперус находился на середине своего творческого пути. После сказок Куперус снова вернулся к созданию психологических семейных романов, – но уже на другом уровне, сочетающем натуралистическое исследование динамики души с вниманием к иррациональной, мистической составляющей («О старых людях и Том, что проходит мимо», 1906, вспомним также «Тайная сила», 1900); после чего увлекся жанром психологического исторического романа о тщете славы («Гора солнца», 1906, «Ксеркс, или Высокомерие», 1919, «Искандер», 1920), а также изящными путевыми зарисовками-арабесками («Короткие арабески», 1911, «Ниппон», 1925).

В 2014 г. издательство «Геликон Плюс» выпустило в свет русский перевод романа «Тайная сила», «О старых людях и Том, что проходит мимо» – второй роман Куперуса, выходящий в России в XXI веке, спустя век после первого знакомства русских читателей с его ранними романами. В работе

над текстом переводчик столкнулся с теми же проблемами, о которых писала Е.Половцева, говоря о трудности перевода «красивого поэтического языка» голландского романиста. Дело в том, что Куперус нередко строит свой текст по принципам музыкального произведения, с повтором лейтмотивов и тщательной проработкой тональности. Стремясь выработать свой собственный, необыкновенный, ни на что похожий язык, писатель-денди не только максимально усложняет синтаксис, придавая ему витиеватость и вычурность, но также создает прихотливые неологизмы и широко использует графические возможности, такие как курсив, заглавные буквы, надстрочные знаки, авторские знаки препинания. Его излюбленный знак препинания – это многоточие в комбинации с вопросом или восклицательным знаком, при этом сочетание!.. передает иную интонацию, чем сочетание!.. Уже современники писателя иронизировали насчет «парфюмированности» его произведений. Тем не менее переводчик стремился максимально сохранить авторские особенности стиля Куперуса.

*Ирина Михайлова*

# Часть первая

## I

Из вестибюля донесся глубокий бас Стейна.

– Ко мне, Джек, ко мне, собачка! Хозяин хочет с тобой погулять! Иди сюда!

Послышался залиvistый лай фокстерьера, в необузданной радости скатившегося по ступенькам лестницы, словно запутавшись в собственных четырех лапах.

– О, этот голос! – прошипела сквозь зубы *татап* Отилия и раздраженно перелистнула несколько страниц своей книги.

Шарль Паус взглянул на нее невозмутимо, с улыбкой в уголках рта, с которой всегда смотрел на *татап*. Он только что пообедал у нее и собирался пойти к Элли, сразу как допьет кофе. Стейн с Джеком ушли, весь небольшой дом погрузился в вечернюю тишину, и только в гостиной, безликой и неуютной, в газовом рожке шипел газ. Шарль Паус смотрел на носки своих ботинок и находил, что они очень изящны.

– Ну и куда же он отправился? – спросила *татап*, и в ее голосе послышались беспокойные хриплые нотки.

– Гулять с Джеком, – ответил Шарль Паус; дома все звали его Лот; голос его звучал негромко и успокаивающе.

– Побегал к любовнице! – сердито прошептала *татап* Отилия.

Лот сделал жест, выражавший усталость.

– Ах, *татап*, – сказал он, – не переживайте и не думайте устраивать сцену. Я скоро пойду к Элли, а пока еще посижу немножечко с вами, ладно? Стейн ведь ваш муж... не стоит с ним на каждом шагу ссориться и говорить ему такие вещи и вообще так о нем думать. Вы только что выглядели как маленькая фурия. Когда вы сердитесь, у вас появляются морщинки.

– Так я ведь на самом деле старая.

– Но у вас такая нежненькая кожа на лице...

*Матап* Отилия улыбнулась, и Лот поднялся.

– Давайте, – сказал он, – поцелуйте меня. Не хотите? Тогда я сам вас поцелую, мою сердитку-мамочку... и почему вы сердитесь? Ведь на ровном месте! Я, во всяком случае, уже забыл, по какому поводу вы рассердились. И проанализировать не сумею. Удивительно, что я сам такой спокойный, хоть и родился у маленькой фурии...

– Если ты думаешь, что твой отец был спокойным человеком...

Лот улыбнулся, своей обычной улыбкой; ничего не ответил. Мефрау<sup>1</sup> Стейн де Вейрт продолжала читать, теперь уже спокойнее. Она сидела со своей книжкой, точно дитя. Это

---

<sup>1</sup> Мефрау – обращение к замужней женщине или форма вежливого упоминания о ней; госпожа.

была шестидесятилетняя женщина, но глаза у нее были по-детски голубыми, трогательно красивыми, нежными и наивными, и ее голос, немного визгливый, звучал всегда по-детски, а сегодня напоминал голос непослушного ребенка. Она сидела в кресле, маленькая, с прямой спиной, и внимательно читала книгу, все спокойнее и спокойнее, ведь Лот так спокойно поговорил с ней и так нежно поцеловал. Газовый рожок тихонько шипел, Лот неспешно пил кофе и глядел на свои ботинки, пытаясь понять, почему собрался жениться. Он не считал себя человеком, предназначенным для семейной жизни. Он еще достаточно молод, ему всего тридцать восемь лет, а выглядит намного моложе; он пишет статьи и зарабатывает этим достаточно, чтобы жениться, да еще и Элли получит приданое от *grand-papa* Такмы... Но он не чувствовал себя человеком, предназначенным для семейной жизни. Свобода, независимость, эгоистичная любовь к путешествиям были ему дороже всего на свете, а жениться — это значит связать себя по рукам и ногам и добровольно отдать себя в полное распоряжение жене. Лот вовсе не был страстно влюблен в Элли, он просто считал ее умной женщиной с художественным вкусом. И тем более дело было не в том наследстве, которое она получит от *grand-papa* Такмы. Так почему же он тогда решил на ней жениться? Он вновь и вновь задавал себе этот вопрос, каждый день на протяжении всей этой недели, что последовала за сделанным предложением.

— *Матап*... вы можете мне объяснить... почему я сделал

Элли предложение?

*Матан* Отилия оторвала глаза от книги. Она привыкла к неожиданным и остроумным вопросам Лота и обычно отвечала ему, насколько умела, в таком же тоне, но сейчас от заданного ей сыном вопроса ощутила укол ревности, укол, причинивший ей острую боль, физическую, словно от шипа под кожей.

– Почему ты сделал предложение Элли? Не знаю... мы все что-то делаем и не знаем почему...

Голос ее прозвучал так тихо и грустно, так обиженно – после недавних интонаций шаловливого ребенка. Ведь она потеряла уже все, что у нее было в жизни. Похоже, она вот-вот потеряет и Лота, уступит его Элли... точно так же, как до сих пор всегда кому-то что-то уступала...

– Как серьезно вы мне отвечаете, *taman!* Раньше я за вами такого не замечал.

– Неужели я не имею права раз в жизни сказать что-нибудь всерьез...

– Но почему вы в последние дни вдруг стали такой серьезной, и грустной, и вспыльчивой... Неужели оттого, что я собрался жениться?

– Да, быть может, от этого...

– Но вы же любите Элли...

– О да, она очень мила...

– Лучше всего нам остаться жить всем вместе; Элли тоже вас любит, и со Стейном я уже переговорил...



Своего отчима, второго отчима, Лот звал просто Стейн, без церемоний, хотя первого отчима, когда был маленький, называл «господин Трэвелли». *Maman* Отилия выходила замуж трижды.

– Дом у нас маловат, особенно если будет прибавление в семействе, – сказала Отилия, а про себя подумала:

«Если мы будем жить вместе, я не лишусь Лота полностью, но никогда не смогу поладить с невесткой, особенно если пойдут дети».

– Прибавление?

– Ну да, дети...

– Дети?

– Да... так бывает.

– Семейство у нас и так большое. Я пока не собираюсь заводить детей.

– Но если ты не будешь все время под боком у жены, то кто же с ней будет, если вы не обзаведетесь детьми? Хотя, правда, вы оба такие яркие... А я всего лишь глупая женщина, и мои дети часто служили мне утешением...

– И вы их всегда портили тем, что слишком баловали.

– Тебя я не испортила, тебе меня не в чем упрекать.

– Я вас не упрекаю.

– М-да, Лот, значит, ты предлагаешь жить вместе, – сказала Отилия грустно, детским голосом, подняв на сына свои по-детски голубые глаза. – Я бы тоже так хотела, если согласится Элли, это было бы всем удобно. Я бы чувствовала се-

бя не такой одинокой, как без тебя. Но если она станет возражать, я могу перебраться в Англию. У меня ведь там тоже двое моих мальчиков. Да и Мери собирается в этом году вернуться из Индии.

Лот нахмурился и приложил руку к своим светлым волосам: они лежали идеально аккуратно, на пробор.

– Или я могла бы... поехать в Ниццу к Отилии.

– Нет, *tatant*, – поспешно, почти запальчиво сказал Лот.

– Почему ты так говоришь? – воскликнула меффрау Стейн де Вейрт, повысив голос. – Она ведь моя дочь?

– Да, – согласился Лот, уже более спокойно. – Но все же...

– Что значит «все же»? Ведь она моя дочь?

– Все же с вашей стороны будет очень неразумно поехать к Отилии.

– Ну и что, что мы с ней когда-то повздорили...

– Это невозможно, вы с ней не уживетесь. Если вы думаете поехать к ней жить, то лучше уж я не стану жениться. Впрочем, Стейн тоже имеет право голоса!

– Я так люблю Ниццу, – сказала меффрау Стейн де Вейрт, и в ее детском голосе слышались жалобные нотки. – Там так чудесно зимой... но, пожалуй, мне будет трудновато... туда поехать... потому что Отилия так себя ведет... если это возможно, я бы предпочла жить с тобой, Лот. Если Элли согласится... Может, нам переехать в другой дом, побольше? Но хватит ли у нас денег? Во всяком случае, остаться вдвоем со Стейном я не хочу. Это уж точно. Это уж точно.

– Мамочка...

В голосе Лота отчетливо звучало сострадание. В голубых глазах *taman* после этих решительных слов засверкали слезы, крупные слезы, которые не стекали по щекам, но придавали ее непокладистому взгляду грустное выражение. С нервным вздохом она опять взялась за книжку и замолчала, делая вид, будто читает. В ее жестах сквозили одновременно какая-то покорность судьбе и какое-то упрямство, как у непослушного ребенка. Она напоминала избалованного ребенка, который, несмотря ни на что, втихаря делает то, чего ему хочется. Лот, с чашкой в руке и с улыбкой на губах, занялся исследованием: после минутного сострадания он принялся изучать *taman*. Да, раньше она, несомненно, была очень красивой, дядюшки всегда говорили, что она была как куколка. Теперь ей уже исполнилось шестьдесят и о соблазнительности не могло быть и речи, но эта кукольная детскость в ней сохранилась. Морщины здесь и там выдавали ее возраст, но на лбу и на щеках кожа оставалась гладкой и идеально нежной, а на висках просвечивали тонюсенькие голубые прожилки. Она давно полностью поседела, но оттого что в молодости была светловолосой и кудрявой, это не бросалось в глаза; на висках и на шее сзади у нее совершенно по-детски вились завиточки, выбившиеся из свернутого одним движением и закрепленного на затылке шпильками узла волос. Фигура у *taman* Отилии, которая всегда была стройной и невысокой, с возрастом не изменилась; руки ее были ма-

ленькими, нежными и ласковыми; впрочем, нежным и ласковым было все ее существо, но особенно нежным светом светились глаза. Лот, смотревший с улыбкой на мать, видел в ней женщину, прожившую бурную жизнь, которая хоть и была полна любви и ненависти, но словно не задела ее сути. И все же *taman* перенесла многое со своими тремя мужьями, которых когда-то любила, а теперь всех троих ненавидела. Да, она несомненно была кокетлива, но исключительно по своей природе, а не из расчета; она была женщиной, ведомой по жизни только любовью, и не могла быть другой, не могла поступать иначе, чем поступала, поневоле упрямо и вопреки всему, следуя природе и горячей крови. Экономностью она никогда не отличалась, но и никогда не стремилась к созданию уюта в доме или приобретению нарядов, презирая элегантность и комфорт, подсознательно понимая, что привлекательна сама по себе, а не за счет тех искусственных вещей, которые могут ее окружать. И сейчас *taman* одета просто невысказанно, размышлял Лот, и единственная уютная комната в доме – это его собственная комната. *Matan*, обожавшая чтение, читала новейшие французские романы, которые не всегда понимала, так как, несмотря на собственную жизнь, исполненную любви, страсти, ненависти, во многих вещах сохраняла полную невинность и представления не имела об извращениях. Лот нередко видел, что, читая, она удивляется и не понимает, и замечал наивное выражение в ее детских глазах; она же не решалась попросить сына ей объяснить...

Лот поднялся с кресла; в тот вечер он собирался к Элли. Он поцеловал *татап* со своей неизменной улыбкой на губах, появлявшейся всегда, когда он на нее смотрел...

– Раньше ты не уходил каждый вечер из дому, – упрекнула его *татап* и почувствовала укол шипа в сердце.

– Я теперь влюблен, – спокойно ответил Лот. – И я обручен. В таких обстоятельствах полагается наведываться к своей девушке. А вы, пожалуйста, подумайте над моим вопросом, почему я ей сделал предложение... и не скучайте без меня вечером.

– Теперь это часто будет моим уделом...

*Матап* Отилия сделала вид, будто углубилась в свой французский роман, но едва Лот вышел из комнаты, отложила книгу, подняв от нее беспомощный взгляд голубых глаз. Она не пошевелилась, когда служанка принесла поднос с чайником на спиртовке; она смотрела перед собой, поверх книги. Вода кипела и пела свою песенку, за окнами жалобно завывал, впервые после летней жары, холодный ветер. *Матап* Отилия чувствовала себя всеми забытой, о, как быстро все прошло... Вот она тут сидит и сидит, она, седая старуха... Что еще осталось у нее в жизни? Хотя все ее трое мужей, как ни странно, еще живы; Лот недавно ездил вместе с Элли в Брюссель нанести визит своему отцу; Тревелли живет себе безбедно в Лондоне... его она в свое время любила все-таки больше всех. Ее трое английских детей в Англии чувствуют себя более англичанами, чем голландцами; дочь

Отилия поселилась в Ницце и ведет себя так странно, что все родственники ее осуждают; а Лот – Лот тоже скоро будет отрезанный ломоть... Он всегда был так мил и всегда оставался с ней, хоть и любил путешествовать, а в Гааге у него и друзей-то почти нет, и в клуб он никогда не ходит. А теперь вот собрался жениться; что правда, то правда, он уже не так молод, чтобы все еще оставаться «молодым человеком», сколько же ему лет, неужели тридцать восемь?... Чтобы заняться чем-то сейчас, сидя в одиночестве за чайным подносом с кипящей водой, она стала на пальчиках высчитывать, сколько лет каждому из ее детей; Отилии, сестре Лота, ее старшей дочери, сорок один... о боже, какая старая! А английским детям – она всегда называла их «мои английские дети» – Мери тридцать пять... Джону тридцать два... а ее красавцу Хью, ему уже тридцать! Боже мой, боже мой, какие же все старые! И погрузившись в вычисления, она сосчитала ради забавы, что *grand-taman* скоро исполнится... сколько же... девяносто семь лет... А господин Такма-старший – дедушка Элли – несколькими годами младше. Вспомнив о нем, *taman* Отилия подумала: как странно, что господин Такма всегда был к ней особенно добр и внимателен; может быть, это и правда то, о чем перешептывались раньше, когда она еще общалась с родственниками, может быть, это и правда... До чего они забавные, эти старичок и старушка: видятся почти каждый день, потому что *papa* Такма еще в отличной форме и часто выходит из дому: совершает ежедневную про-

гулку от набережной Маурицкаде до аллеи Нассаулаан. Через высокий мост переходит запросто. Да... а сестре Терезе в Париже – она старше самой Отилии на восемь лет, – а сестре Терезе тогда шестьдесят восемь, а братьям так: Даану там, в Ост-Индии, семьдесят, Харольду семьдесят три, Антону семьдесят пять, а вот Стефании – единственному ребенку от маминого первого брака, единственной, носившей фамилию де Ладдерс, уже семьдесят семь. Сама Отилия, младшая из всех братьев и сестер, всегда считала остальных очень старыми, но вот теперь и она стала старой, ей уже шестьдесят...

Насколько все относительно – возраст, старость, но у нее всегда было такое ощущение, будто она, младшая, всегда будет молодой, всегда будет моложе всех других братьев и сестер. Отилия до сих пор неизменно посмеивалась, когда Стефания говорила: «В нашем возрасте...» Ей-то семьдесят семь... а ведь между шестьюдесятью и семьюдесятью семью все-таки есть разница. Но сейчас Отилия пожала плечами: какое это имеет значение, всему пришел конец, причем уже давно... она сидит и сидит, седая старуха, доживающая свой век, и одиночество неуклонно усиливается, несмотря на присутствие Стейна... Вот он как раз пришел домой. И куда же это он ходит каждый вечер... Она услышала, как в коридоре лает фокстерьер и низкий бас ее собственного мужа произносит:

– Тихо, Джек, куст, Джек!

О, этот его голос, как она его ненавидит! Что осталось у

нее в жизни, кто остался у нее в жизни? Она родила пятерых детей, но из них никуда от нее не уехал только Лот, да и тот слишком любит путешествовать, а теперь вот собрался жениться, и она ревнует! С дочерью Отилией они больше не видятся, Отилия не любит мать; она певица, она дает концерты, она знаменита, у нее великолепный голос, но ее поведение... Стефания называет ее «пропащей»... Мери поехала следом за мужем в Ост-Индию, а оба английских сына живут в Лондоне, о, как она скучает порой по Хью! В ком из детей она находит теперь утешение, кроме ее милого Лота? И вот Лот собрался жениться! И еще спрашивает у нее, у матери, которая так будет скучать по нему, почему! Разумеется, этот вопрос с его стороны – кокетство, но, возможно, не без доли серьезности... Знает ли человек хоть что-нибудь о себе самом? Почему он совершает тот или иной поступок... импульсивно? Она сама трижды выходила замуж... М-да. Возможно, Отилия и права... Впрочем, нет, ведь существует общественное мнение, существуют люди, пусть ни общество, ни люди в последнее время и не интересуются их семьей... но они же все равно существуют, и нельзя же поступать так, как поступает Отилия... Потому-то она, *tataп* Отилия, и выходила всякий раз замуж... возможно, не стоило этого делать, возможно, так было бы лучше во многих отношениях, для многих людей... Но теперь уже все прошло, все, что было в прежней жизни! Все исчезло, словно никогда и не было... Но это правда было и, уходя, оставило множество сле-



дов, и все эти следы – лишь наводящие грусть призраки и тени... Да, сегодня она настроена на серьезный лад и на размышления, что вообще-то с ней бывало нечасто, потому что какой в них прок, в этих размышлениях? Если она когда-либо в своей жизни и пыталась думать, то у нее это никогда толком не получалось... А когда руководствовалась импульсами, то выходило еще хуже... Какой от этого прок – стремиться жить так или иначе, когда тебя ведет по жизни все равно нечто, что сильнее тебя, нечто, что таится в крови, текущей по твоим жилам?

*Maman* Отилия снова погрузилась в свой французский роман, потому что в комнату следом за Джеком вошел Стейн де Вейрт. Если бы кто-то смотрел на *maman* минуту назад и посмотрел бы сейчас, то заметил бы: как только вошел муж, *maman* разом постарела. Ее только что свежие щеки стали нервно подрагивать, у носа и рта обозначились складки. Маленький прямой носик вдруг заострился, на лбу проявились сердитые морщины. Пальцы, разрезавшие шпилькой для волос страницы книги, задрожали, так что страница порвалась. Спина выгнулась, словно у кошки, приготовившейся к обороне. Она ничего не сказала, только налила ему чая.

– Тубо! – отдала она команду собаке.

И радуясь, что пес подошел к ней, она нежно похлопала его по голове; фокстерьер, нервно гавкнув в последний раз, уютно улегся у ее ног, на подоле платья, и глубоко вздохнул. Стейн де Вейрт сидел напротив нее и пил чай. Было странно,

что они муж и жена, потому что *татап* выглядела на свой возраст, а Стейн казался совсем молодым. Он был крупного телосложения, широкоплечий, не старше пятидесяти лет, с красивым, свежим, здоровым лицом человека, живущего за городом, в движениях и взгляде читалось спокойствие. Его молодая жизнь, на которой он в свое время поставил крест из-за чувства долга по отношению к женщине на много лет старше него, со временем окрасилась безразличием, нежеланием думать, на что он еще способен. Что испорчено, то испорчено; жизнь, однажды выброшенную на свалку, уже не вернешь. У него оставались свежий воздух, охота с собакой, рюмка спиртного, у него оставались друзья – с той поры, когда он служил офицером-кавалеристом. И еще у него был этот маленький дом и эта старая жена, которую он воспринимал как данность, потому что другого выхода не было. На первый взгляд он всегда поступал так, как она хотела, потому что она могла устроить сцену и была упряма, но его собственное тихое упрямство было сильнее. Лот – чудесный мальчик, немножко слабоват и странноват и женоподобен, зато отлично ладит с матерью; Стейн очень любил Лота и радовался, что пасынок живет у них в доме, он отдал Лоту одну из лучших комнат в доме, чтобы тот мог работать. А кроме этого... у него были еще другие интересы, но это никого не касалось. Черт побери, он же еще молодой человек, хотя его густых волос уже коснулась седина. Он женился из чувства чести, но теперь его жена безнадежно состарилась...

В каком-то смысле смешная история! Он не допустит, чтобы его жизнь стала адом, он еще здоров и полон сил. Прячась за своим безразличием, он умел от всего отмахнуться.

Именно это безразличие и раздражало его жену, она становилась нервной кошкой, едва он входил в комнату. Не произнося ни слова, он пил чай и читал газету, которую принес с собой. В небольшой гостиной слышалось шипенье газового рожка и завывание ветра за окном; лежа на длинном подоле хозяйкиного платья, фокстерьер дремал, посапывая и порой взвизгивая от приснившегося.

– Тубо! – говорила она тогда.

Они не разговаривали, погрузившись в чтение, она – своей книги, он – вечерней газеты. Когда-то эти двое людей, сейчас соединенные узами брака, потому что лет двадцать назад он как человек чести считал своим долгом на ней жениться, – когда-то эти двое людей страстно желали друг друга, мужчина женщины, женщина мужчины. Стейн де Вейрт служил старшим лейтенантом, ему было тридцать лет, и увидев мейффрау Тревелли, он думать не думал о ее возрасте. Какое имеет значение, где ты встретил женщину, такую соблазнительную и красивую! Он мгновенно, с первой же минуты почувствовал, что у него в крови вспыхнул огонь, и подумал: эта женщина должна быть моей... Она, в ту пору сорокалетняя, была еще в самом расцвете, и все звали ее «красавица Отилия». Это была женщина хрупкого телосложения, но идеальных пропорций, у нее были нежное личико и нежная линия

шей и груди, нежно-золотые веснушки на молочно-белой коже, невинно-голубые глаза и очень светлые, слегка вьющиеся волосы; казалось, эта прелестная женщина-малышка рождена лишь для того, чтобы внушать пылкую страсть. Когда Стейн де Вейрт впервые увидел ее такой в одном из гаагских салонов, где царили свободные нравы и разговор велся на том голландском языке, на каком говорят в Ост-Индии, она была замужем за полуангличанином Тревелли, сколотившим состояние на Яве. Стейн увидел мать троих детей – пятнадцатилетней дочки и двух сыновей чуть помладше, но влюбленный офицер не захотел поверить, что у нее есть еще двое старших детей от первого брака, с Паусом, с которым она развелась ради Тревелли, – дочь, учившаяся в Консерватории в Льеже, и восемнадцатилетний сын! Красавица Отилия? Она рано вышла замуж, как принято в Ост-Индии, но все равно осталась красавицей Отилией... Такие большие дети? Неужели ей сорок?! Узнав об этом, молодой офицер, пожалуй, засомневался и попытался посмотреть на меффрау Тревелли другими глазами, но, поймав ее взгляд и увидев, что она его жаждет так же, как и он ее, забыл обо всем на свете... Зачем упускать мгновение счастья? И что значит мгновение счастья с еще соблазнительной красивой женщиной? Радость на неделю, на месяц, на несколько месяцев, а потом – разошлись в разные стороны...

Так он думал тогда, ну а теперь, теперь он сидит здесь, потому что этот негодяй Тревелли, мечтавший избавиться от

Отилии, воспользовался случаем, чтобы раздуть скандал и после имитации дуэли развестись с женой, потому что вся Гаага сплетничала об Отилии, когда она осталась с любовником, и потому что он, Стейн, все же честный человек; вот он и сидит теперь здесь, напротив этой старухи. Они не обменялись ни единым словом; чай был выпит, поднос унесен, и Джек уютно дремал, повизгивая во сне, а за окном завывал ветер. Пальцы Отилии перелистывали страницу за страницей; Стейн, прочитав новости о войне, принялся за объявления, а после объявлений снова за новости о войне. Комната, в которой они сидели, эти муж и жена, была такой же, как много лет назад, безликой и неудобной; под стеклянным колпаком тикали часы, без остановки, без остановки. Гостиная больше напоминала зал ожидания, где двое людей сидели и ждали – после всего, что прошло мимо, – сидели и ждали... Чего? Одинокого конца, окончательной смерти... Стейн поперхнулся и снова перечитал объявления. Но его жена вдруг захлопнула книгу и сказала:

– Франс...

– Да?

– Я только что поговорила с Лотом.

– И?

– Ты не возражаешь, если они с Элли останутся жить у нас?

– Нет, напротив...

Спокойное согласие Стейна, казалось, вызвало раздраже-

ние у его жены, и она, сама того не желая, принялась возражать:

– Но это будет не так уж просто!

– Почему?

– Ведь у нас так мало места...

– Можно переехать в более просторный дом.

– Но это будет стоить денег. А у тебя они есть?

– Думаю, с учетом заработков Лота и приданого Элли...

– Нет, большой дом нам не по карману.

– Тогда можно и здесь...

– А здесь тесно.

– Значит, не получится.

*Матап* Отилия поднялась из кресла, раздраженная.

– Конечно, не получится, как всегда! Из-за этих дурацких денег. Но я тебе вот что скажу: если Лот женится, то я... я не смогу...

От волнения она всегда начинала заикаться.

– Чего не сможешь?

– Не смогу... остаться одна... с тобой! Я тогда перееду в Ниццу, к Отилии.

– Что ж, переезжай...

Он сказал это спокойно, с полным безразличием и снова взялся за газету. Но для *матап* Отилии, постоянно нервной, этого было достаточно, чтобы разразиться слезами.

– Я тебе совершенно не нужна!

Стейн пожал плечами и вышел из комнаты, чтобы уда-

литься к себе наверх; фокстерьер с лаем побежал впереди него.

*Матан* Отилия осталась одна, и ее рыдания сразу прекратились. Она сама знала – за долгие годы она научилась себя понимать, – что быстро вспыхивает, а потом, как ребенок, успокаивается. Но почему, почему она стареет и стареет, почему становится все более одинокой?! Вот она тут сидит и сидит, седая старуха, одна, в неуютной комнате, и все прошло, все прошло... Ах, вот бы Лот остался у нее жить, ее Лот, ее Шарлот, ее мальчик! И она почувствовала, как ревность, которую она прежде пыталась подавить, охватывает ее все сильнее и сильнее, ревность к Элли из-за Лота... ревность, ревность из-за Стейна... Он раздражал ее, едва входил в комнату, но она все равно до сих пор его ревновала, как раньше, как всех, кто ее любил... Какой ужас, что она ему больше не нужна, оттого что состарилась... Ну почему он никогда не скажет ей доброго слова, никогда не поцелует в лоб! Она ревновала к Элли из-за Лота, и она ревновала к Лоту из-за Стейна, потому что Лота Стейн любил больше, чем ее! О, какая это жестокая вещь – годы, отнимавшие у нее всё, одно за другим... Прошли безвозвратно годы любви, те веселые годы любви, годы ласки... все прошло, все-все! Даже фокстерьер теперь считал Стейна своим хозяином; а ее не любило ни одно живое существо, и с какой это стати Лот вдруг собрался жениться! Отилия чувствовала себя настолько одинокой, что после сдавленных всхлипов, прекра-

тившихся, когда в них отпала надобность, упала в кресло и стала тихонько плакать, плакать по-настоящему, от своего безлюбного одиночества. Ее по-прежнему красивые детские глаза, заплаканные, обратились теперь к далекому прошлому. Тогда ее, красавицу Отилию, окружала такая ласка, такая забота, такая любовь, такая игривость, такое веселье, такое поклонение, она ведь была такая хорошенькая, жизнерадостная и милая, и улыбка ее была очаровательна, а характер прелестно капризный! Сквозь все эти чувства ее всегда колот шип ревности, но на ее долю выпадало столько внимания, столько нежного почитания, какими мир, мир мужчин, награждает красивых женщин... Она улыбнулась сквозь слезы этому воспоминанию, и воспоминание заиграло, светлое, точно далекое облачко. О, как ее носили на руках! А теперь все эти мужчины или состарились, или умерли; не умерли только ее собственные три мужа, а Стейн даже и не состарился. Он остался слишком молодым; будь он постарше, она бы еще волновала его, и они бы еще дорожили друг другом, и были бы счастливы, как порой бывают счастливы вместе старики, хотя жар юных лет и прошел... Она глубоко вздохнула сквозь слезы, она сидела в кресле, точно беспомощный ребенок, который набедокурил и теперь не знает, что делать...

И что же теперь делать? Спокойно лечь спать в своей одинокой старческой спальне, в свою одинокую кровать, а утром проснуться и присоединить к череде прежних дней заката жизни еще один новый... Ах, почему она не умерла моло-



дой...

Она позвонила в колокольчик, чтобы служанка заперла входную дверь на ночь. В подобных привычных мелочах ей виделась сейчас такая безотрадность, каждый день одно и то же, и все бессмысленно. Она пошла наверх; дом был такой маленький, две комнаты внизу, две комнаты наверху – ее спальня и кабинет, здесь и жили они с Лотом, а Стейн обосновался в мансардном этаже, наверняка чтобы быть подальше от жены... Раздеваясь, она размышляла: если Элли не станет фокусничать, то, может быть, они и поместятся: свою большую спальню с тремя окнами она уступит Лоту с Элли, а сама, что же, сама будет спать в кабинете у Лота, какая ей теперь разница. Хоть бы у них не пошли дети! Хоть бы она не лишилась Лота полностью! Он спросил у нее, почему сделал предложение Элли. Спросил, как всегда, в шутку, но все же лучше бы не спрашивал; сейчас она была рада, что в ответ не взорвалась и ответила ему спокойно. О, как ей больно, физически больно от этого шипа в сердце, оттого что его любовь, привязанность и даже ласки теперь достанутся другой. И грустная, полная жалости к себе, она легла в кровать: ее окружала пустая неудобная комната, комната женщины, не придающей значения таким мелочам, как комфорт и удовольствие от ухода за собой, чьей главной страстью было завоевание любви, ласки тех, к кому ее влекло из-за – порой скрытых – истерических флюидов, электрических разрядов между ними и ею. Поэтому всеми прочими элементами жиз-

ни женщины – как матери, как светской львицы и даже просто элегантной дамы – она пренебрегала и не замечала их, презирая вспомогательные уловки, уверенная в своем обаянии и от природы не самоотверженная мать. Ах, вот она и состарилась, и осталась одна, и лежит теперь в полном одиночестве в своей холодной постели, а сегодня даже не может рассчитывать на обычную ежевечернюю радость – что Лот зайдет к ней в комнату из соседней и поцелует ее перед сном в лоб, как он умеет это делать, нежным, ласковым и долгим поцелуем; обычно он садился на край ее кровати, они беседовали немного о том о сем, затем он гладил ее по щеке и говорил:

– Мамуля, какая у тебя нежненькая щечка...

Когда он вернется домой, он подумает, что она уже спит, и тоже ляжет... Отилия вздохнула; она чувствовала себя такой одинокой. Над комнатой Лота – какая слышимость! – ходил по своей спальне Стейн. Служанка тоже уже укладывалась спать. Отилия, лежа в кровати, прислушивалась ко всем звукам в доме, к открываемым и закрываемым дверям, к поставленным на пол ботинкам, к плеску воду, вылитой из стакана... Вот все стихло, и она подумала: хорошо, что я беру на работу только старых служанок... Эта мысль доставила ей горькую радость: хотя бы здесь у Стейна нет соблазна. Вот в доме стало тихо, точно ночью, а ведь еще не было одиннадцати...

Кажется, она задремала? Почему же она внезапно просну-

лась? Отчего скрипит лестница? Это Лот вернулся домой? Или Стейн крадется к входной двери? Лот? Или Стейн? Сердце ее колотилось. Она быстро встала и, не успев ни о чем подумать, открыла дверь на площадку, увидела, как в передней загорается спичка...

– Лот, это ты?

– Нет, я.

– Ты, Франс?

– Да, а что?

В его голосе звучало раздражение, оттого что она услышала его шаги.

– Куда ты собрался?

– На улицу.

– Так поздно?

– Да. Мне не спится. Пойду погуляю.

– Пойдешь погуляешь ночью?

– Да.

– Франс, ты меня обманываешь!

– Да ну что ты. Ложись лучше спать.

– Франс, я не хочу, чтобы ты меня обманывал!

– Послушай...

– Франс, пожалуйста, не уходи! Лота сейчас нет дома, и мне так страшно... одной... Пожалуйста, Франс.

В ее голосе появились нотки, как у плачущего ребенка.

– Я не могу без свежего воздуха!

– Ты не можешь без...

Она не закончила фразу, внезапно смолкнув от гнева. Там, наверху, в комнате на чердаке, из-за двери подслушивала старуха-служанка и смеялась... Смеялась над ней... Отилия знала это точно. Она задохнулась от гнева, от бессильного бешенства, все ее тело под ночной рубашкой содрогалось от ярости. Входная дверь открылась и закрылась. Стейн ушел, а она... все еще стояла на лестничной площадке. Она сжала кулаки, с трудом переводя дыхание, готовая побежать за Стейном прямо в ночной рубашке; слезы градом покатились из ее детских глаз, но, стыдясь служанки, Отилия вернулась к себе в комнату.

Она плакала беззвучно, чтобы ее не слышала служанка, чтобы не доставить служанке еще большего удовольствия. О, какая боль, какая колющая боль здесь, в сердце, какая физическая боль, физическая боль! Тот, кто не испытывал подобного, не знает, как сильна эта физическая боль, хоть врача вызывай... Куда же ушел Стейн? Он еще молодой, и он так хорош собой... Но он же ее муж, ее муж! Ну почему он не любит ее по-прежнему, хоть она и состарилась? Она уже забыла даже тепло от прикосновения его руки! О, как глубоко она ощущала когда-то его близость, когда-то, давным-давно! А теперь ни единого поцелуя, ни единого поцелуя, которыми нередко обмениваются даже пожилые люди.

Отилия не стала ложиться в кровать, она сидела и ждала... Скоро ли вернется Стейн? Это он отпирает дверь? Нет, это Лот: это звук его ключа, его легкие шаги...

Отилия приоткрыла дверь.

– Лот...

– Мамуля... Ты все еще не спишь?

– Ах, малыш... Лот, Лот, зайди ко мне...

Он вошел к ней в комнату.

– Лот... Стейн... ушел...

– Ушел?

– Да, сначала он пошел к себе в комнату... а потом я услышала, как он тихо-тихо спускается по лестнице, а потом он тихо-тихо вышел на улицу...

– Мамуля, он просто боялся тебя разбудить...

– Да, но куда же он пошел?

– Прогуляться... Он же часто ходит гулять... Ему не хватает воздуха, ночь такая душная...

– Прогуляться, Лот, прогуляться? Нет, он пошел...

Она стояла – Лот видел ее лицо, озаренное пламенем свечи, – дрожа от гнева. Ее напряженная маленькая фигурка в белой ночной рубашке, ее светлые выющиеся волосы с проседью дрожали в неверном свете; все, что было в ней нежного, сейчас от горя превратилось в бешенство, она была в полном иступлении, в какой-то миг ей захотелось поднять руку на Лота, ударить за то, что он защищает Стейна... Она сдержалась, подавила свой гнев, но оскорбительные слова и яростные упреки кипели у нее на губах.

– Успокойся, мамуля, мамуля, ну успокойся же...

Лот пытался ее унять, обнял и стал гладить по спине, как

глядят разволновавшегося ребенка.

– Мамуля, перестань, перестань...

Теперь она разрыдалась... А он все говорил и говорил с нежностью о том, что она преувеличивает, что в последнее время слишком возбуждена, что он вообще передумает жениться, если она немедленно не успокоится. И так ласково утешал ее, что убедил лечь в кровать; накрыл одеялом и поправил подушку:

– Успокойся, мамуля, закрывай глазки и будь умницей. Пусть Стейн погуляет, не думай о нем, не думай ни о чем...

И она притихла от прикосновений его нежной руки, гладившей ее по голове, по щеке.

– Спи сладенько, глупая мамуля! Какая же у тебя нежная щечка!

## II

Элли Такма была очень счастлива и выглядела лучше, чем все последние годы. Что ж, рассуждала про себя кузина Адель, старая дева, которая уже давным-давно вела хозяйство у старого Такмы и тоже носила фамилию Такма, первый серьезный роман девушки в двадцать с небольшим лет, причинивший ей страдания – разорванная помолвка с мужчиной, отправившимся к любовнице после вечера у невесты, – такой роман не должен оказывать влияние на всю последующую жизнь. Хотя Элли сразу после этой истории зачахла, Лот Паус вернул ей ощущение счастья и здоровье, она снова стала смеяться, а щеки у нее снова порозовели.

Кузина Адель, или *танте*, как называла ее Элли на манер «яванских» голландцев, – пухлая, полногрудая женщина, казавшаяся моложе своих лет, – совершенно не выглядела бедной родственницей в роли домработницы; она была настоящей хозяйкой дома, которая за всем следит, всей душой печется о делах хозяйственных и гордится идеальным порядком в доме. Адель, никогда не жившая в Ост-Индии, содержала жилище Такмы-деда с истинно голландской аккуратностью, предоставляя Элли отдаваться ее краткосрочным увлечениям. Ибо у Элли одно увлечение сменялось другим; в каждом она стремилась к совершенству, а потом, достигнув мастерства, бросала и окуналась с головой во что-ни-

будь другое. Так, в восемнадцать лет она была знаменитой теннисисткой, получала медали за победы в соревнованиях и славилась аккуратной, сильной и красивой игрой; про Элли часто писали в спортивной прессе. Добившись успеха в теннисе, она вдруг охладела к нему, повесила ракетку у себя в комнате на розовой ленточке, среди медалей, и увлеклась помощью нуждающимся: как настоящий профессионал, посещала бедные семьи, ухаживала за тяжелобольными, и руководство благотворительного фонда высоко ценило ее. Но как-то раз один мужчина показал ей свою израненную ногу, настолько изуродованную, что Элли упала в обморок, после чего поняла, что ее мера человеколюбия исчерпана. Она ушла из благотворительности, а так как в кончиках ее нервных пальцев так и играла одаренность, занялась одновременно изготовлением шляпок и лепкой. То и другое получалось у нее великолепно: шляпки выходили из-под ее рук настолько изящные, что она стала всерьез подумывать о собственном модном ателье, чтобы самой зарабатывать на жизнь. Но и лепка давалась ей легко: после нескольких уроков она научилась лепить с натуры, и ее «Голова мальчика из бедной семьи» была принята на выставку. Но тут Элли влюбилась, и влюбилась по уши; помолвка длилась три месяца, затем была разорвана, и Элли, обладая отнюдь не половинчатой натурой – хоть порой и казалось, что она составлена из множества натур, – страдала настолько глубоко, что тяжело заболела. Пока в один прекрасный день не встала с постели,



снова бодрая, сохранив лишь ощущение смутной грусти. Ей было в то время двадцать три года, и она стала писать, и под псевдонимом напечатала новеллу, где поведала историю собственной помолвки, и новелла была очень неплоха. Увлечение литературой свело ее с Шарлем Паусом, который тоже писал, преимущественно для газет, статьи и обзора. Элли вскоре решила, что и в литературе уже достигла своего потолка. После первой новеллы, выросшей в ее кровоточащем сердце и потому расцветшей ярким цветком, она решила не браться за перо. Ей было двадцать три года, возраст немалый. Она уже прожила целую жизнь, полную самых разных оттенков. Но все же у нее оставалось еще кое-что ценное, у нее оставался Шарль. Кроткий, податливый, с мягким чувством юмора, с нежным выражением глаз, унаследованным от матери, светловолосый, всегда аккуратно подстриженный, неизменно в голубом галстуке, он был не тем мужчиной, о котором она когда-то мечтала, и время от времени, иногда очень остро, она вновь ощущала прежнюю боль. Но она его любила, она его очень любила и считала, что он растрчивает свой талант на мелочи, на журнальные статьи, которые давались ему так легко, – на самом деле это особый жанр, возражал ей Шарль, – а ведь его два романа были так хороши, почему же он уже десять лет не пишет ничего значительного? И вот эта девушка со свойственным ей – в известных границах – упорством открыла в себе новое призвание, возросшее на романтической почве боли и грусти: убедить Лота в его

писательском призвании. Заставить его работать по-настоящему. Она мечтала жить не для себя, а для другого человека, жить вместе с Лотом, имеющим столько талантов, к которым он не относится всерьез. Она все чаще и чаще искала общества Лота; он приходил к ней пить чай; они разговаривали, много разговаривали; Лот, по складу характера не склонный влюбляться, чувствовал себя у Элли по-настоящему хорошо, он позволял ей себя подстегивать, начал писать роман, увяз посередине... Она внушала, что нужна ему. И он сделал ей предложение. Она была счастлива, и он тоже, хотя пылкой любви между ними не было. Они радовались тому, что будут жить вместе, будут друг с другом общаться, вместе работать, путешествовать, согреваемые взаимной душевной симпатией. Он не отличался широтой души, в его душе жили тщеславие и скепсис, артистизм, чрезмерная податливость, а в самой глубине – Страх: Страх перед старостью... Ее душу теперь окрыляла мечта быть верной своему призванию, стремиться к прекрасной цели, помогая реализоваться близкому человеку.

В то утро Элли пела, а за окном первые осенние листья кружили на ветру в золотом потоке солнечных лучей. Элли, не совсем забывшая о недавнем увлечении, подправляла осеннюю шляпку, когда в комнату вошла ее кузина Адель.

– Дедушка сегодня плохо спал, всю ночь ворочался.

– Да, он страдает от звуковых галлюцинаций, ему мерещатся голоса. Вы же знаете, – сказала Элли, – дедушка воро-

чается, когда слышит голоса... Доктор Тиленс полагает, это предвестник полной глухоты... Бедный дедушка... Сейчас я к нему зайду... вот только закончу шляпку... Хочу сегодня надеть. Мы собираемся к меффрау Деркс, потом к тетушке Стефании. Ах, *танте*, я так счастлива. Лот такой милый. И такой талантливый... Я уверена, вместе мы будем очень счастливы. Я хочу много путешествовать, Лот это тоже любит. Сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы поселиться в одном доме со Стейном и *татап* Отилией... Не знаю. Я бы предпочла жить отдельно... впрочем, не знаю... Я люблю *татап* Отилию, это же мать Лота. Но я люблю, чтобы вокруг меня царила гармония, а они со Стейном часто ссорятся. В разговоре с ним я называю его просто Стейн. «Мсье Стейн» – это слишком официально, а звать его *рара* я просто не могу. Впрочем, Лот тоже зовет его Стейном. Непонятно, как к нему обращаться при таком составе семьи... Стейн и сам бы удивился, если бы стала говорить ему *рара*... Вам нравится эта шляпка? Завтра я освежу и вашу. Посмотрите, совсем как новая... Схожу-ка я к бабушке... Бедный, опять плохо спал...

Элли ушла, не закрыв двери в комнату. Адель осмотрелась в этой комнате, заваленной шляпной фурнитурой... Из угла на нее смотрел «Мальчик из бедной семьи», медали висели вокруг ракетки на розовой ленте... На письменном столе белели прямоугольные листы бумаги...

– Какой беспорядок! – сказала Адель.

Она не решилась прикоснуться к бумагам на столе, хотя ей очень бы хотелось их собрать, она не могла выносить вида рассыпанных листов и с трудом уладила свои пальцы, стремившиеся навести порядок... Но шляпную фурнитуру она быстренько прибрала, сложила в картонные коробки и припрятала. Потом пошла вниз, где служанки накрывали стол.

Элли, взбегая по лестнице, услышала удары, словно кто-то колотил по креслу, ей казалось, это ее саму бьют по спине, и еще быстрее помчалась вверх, на второй этаж, где обитал дед. Перед дверью остановилась перевести дыхание, затем, постучавшись, открыла дверь. И спокойной походкой вошла в комнату.

– Как вы себя сегодня чувствуете, дедушка?

Старик сидел за огромным письменным столом и что-то искал в ящике. Увидев внучку, неспешно задвинул ящик. Она приблизилась, поцеловала его.

– Вы плохо спали?

– Да уж, девочка, пожалуй, я вообще не спал. Но дедушка может жить и без сна...

Такме-деду было девяносто три года; он поздно женился, и сын его тоже, вот и получилось, что внучке всего двадцать три. Впрочем, он выглядел моложе своего возраста, намного моложе, вероятно потому, что под безразличием к своему внешнему виду умел маскировать настоящую, тщательную заботу о нем. Венец редких седых волос окружал его череп цвета слоновой кости, кожа на выбритом лице напоминала

выцветший пергамент, зато рот с вставными зубами оставался с виду молодым и улыбочивым, и взгляд его карих глаз из-под очков был ясным и даже проницательным. У него была невысокая, стройная фигура, точно у юноши, сутулая, худая спина обрисовывалась под коротким вестоном<sup>2</sup>, не застегнутым на пуговицы. Ухоженные руки с прожилками, слишком большие при его росте, непрерывно дрожали, он страдал тиком мышцы шеи, из-за чего у него время от времени дергалась голова. Голос – веселый, с теплыми нотками звучал, пожалуй, слишком благодушно, чтобы быть полностью искренним; старый Такма говорил медленно, взвешивая каждое слово, о каких бы простых вещах ни шла речь. Если он сидел, то всегда с прямой спиной, на небольшом стуле, не разваливаясь, словно постоянно начеку; если он шел, то шел быстро, семена едва сгибающимися ногами, и никому не приходило в голову, что у него ревматизм. В свое время он служил чиновником в Ост-Индии, был членом Совета Индии, а теперь уже много лет жил на пенсии. Его собеседники после нескольких фраз обнаруживали, что он следит за политикой, за жизнью в колониях: он посмеивался над тем и другим с легкой иронией. Общаюсь с младшими – а таких было большинство, ибо из его поколения остались только девятностосемилетняя мефрау Деркс-старшая, урожденная Дилленхоф, и восьмидесятивосьмилетний доктор Рулофс, – об-

---

<sup>2</sup> Вестон представлял собой черный однобортный пиджак из крепа или черного бархата, обшитый по борту и обшлагам тесьмой.

щаяся с младшими он держался добродушно-снисходительно, понимая, что людям даже семидесяти или шестидесяти лет от роду мир представляется совсем иным, чем ему, но благодушие его было каким-то утрированным и наводило на мысль о том, что он говорит одно, а думает совсем другое. Он производил впечатление дипломата, который, сам оставаясь на чеку, прощупывает собеседника, пытаясь понять, насколько много тот знает... Иногда в его ясных глазах под очками вспыхивала искра, словно что-то вдруг глубоко поразило его, какое-то острое ощущение, и от тика шейной мышцы резко дергалась голова, точно он вдруг что-то услышал... И тогда он немедленно изображал на лице улыбку и поспешно соглашался с тем, что ему говорили.

В этом глубоком старике больше всего поражала нервная, острая ясность мысли.

Казалось, благодаря какой-то неведомой способности он за долгую жизнь так натренировал свои органы чувств, что они до сих пор оставались в полном порядке; он много читал, в очках, отлично слышал, хорошо переносил вино, остро чувствовал запахи, мог найти все, что нужно, в темноте. И лишь изредка случалось такое, что в середине разговора его вдруг обволакивала непобедимая сонливость, взгляд стекленел, и он погружался в сон... Его не трогали, из вежливости не подавали вида, что замечают это, а через пять минут он просыпался и говорил дальше, как ни в чем не бывало. Тот внутренний толчок, от которого он пробуждался, ускользал

от внимания окружающих.

Элли каждое утро заглядывала к деду, чтобы поздороваться.

– Днем мы идем с визитами к родственникам, – сказала Элли. – Мы еще ни у кого не были.

– Даже у бабушки Лота?

– С нее мы сегодня и начнем. Дедушка, ведь мы обручились всего три дня назад. Невозможно же немедленно напрашиваться ко всем в гости, чтобы рассказывать о своем счастье.

– А ты и правда счастлива, – сказал дед с благодушной нотой в голосе.

– Да, по-моему, да...

– Мне очень жаль, что я не могу предложить вам с Лотом жить у меня, – продолжал он совершенно спокойно: он имел обыкновение говорить о важных вещах как о чем-то незначительном, и в его старческом голоске не слышалось никакого напряжения. – Ты же понимаешь, я для этого слишком стар: чтобы ваше молодое домашнее хозяйство было вставлено в рамку моего! Но ведь в том, чтобы жить отдельно, есть своя прелесть. Милая девочка, мы с тобой никогда не говорим о деньгах... Ты знаешь, что твой отец не оставил наследства, а деньги твоей матери растратил: пытался открыть предприятие на Яве, но ничего не получилось... Они не были счастливы, бедные твои родители... Ты знаешь, что я не богат, но могу позволить себе жить так, как живу, здесь, на

Маурицкаде, потому что потребностей у старика все меньше и меньше, а кухня Адель ведет хозяйство очень экономно. Я подсчитал, что смогу давать тебе по двести гульденов в месяц. Но не более того, девочка, не более того.

– Что вы, дедушка, это же так много...

– Чем богаты, тем и рады. Ты моя главная наследница, правда, не единственная, у твоего деда есть и другие близкие ему люди – добрые знакомые, добрые друзья... Осталось уже недолго, девочка. Разбогатеть ты не разбогатеешь, самое ценное, что у меня есть, это мой дом. А с остальным очень скромно... Но тебе будет хватать на жизнь, особенно потом... Да и Лот, насколько я знаю, кое-что зарабатывает. Ах, деньги – далеко не главное, девочка. Что главное, так это... это...

– Что, дедушка?

Старика внезапно обволокла сонливость. Но через минуту-другую он заговорил снова:

– Возможно, вы будете жить у Стейнов...

– Да, но окончательно еще не решено...

– Отилия очень мила, но она такая нервная... – проговорил старик, погруженный в собственные мысли; казалось, он думает о чем-то другом, о многих вещах сразу.

– Если я соглашусь, то только ради *taman* Отилии, дедушка. Потому что она так привязана к Лоту. Я сама предпочла бы жить отдельно. Но мы в любом случае будем много путешествовать. Лот говорит, что готов путешествовать без



особых затрат.

– Ты с твоим тактом, вероятно, и сможешь... жить у Стейнов. Отилия очень, очень одинока. Бедняжка. Как знать, ты, возможно, добавишь в ее жизнь тепла, ласки...

В его надтреснутом голоске появились нотки нежности, послышалась глубокая искренность...

– Посмотрим, дедушка. Вы сегодня останетесь у себя в комнате или спуститесь обедать в столовую?

– Нет, пусть мне принесут что-нибудь сюда. Я не голоден, я совсем не голоден...

Его голос снова зазвучал высоко.

– Какой сильный ветер, наверное, будет дождь... А вы ведь собираетесь в гости?

– Совсем ненадолго... Заглянем к меффрау Деркс... К бабушке...

– Да-да, так и говори – к бабушке. Когда ее увидишь, сразу назови ее бабушкой... Это по-домашнему, ей наверняка будет приятно... это неважно, что вы с Лотом еще не успели пожениться...

Его голос оборвался, с губ слетел слабый стон, как будто он подумал о чем-то другом, о многих вещах сразу, и из-за тика шейной мышцы голова его дернулась, на миг застыла в неестественном положении, словно он что-то слышал, к чему-то прислушивался... Элли заключила, что дедушка сегодня плоховат... Но вот его опять обволокла сонливость, голова опустилась на грудь, взгляд остекленел. Он сидел в

своем кресле такой хрупкий, полупрозрачный от старости, казалось, если посильнее подуть, то жизнь вылетит из него, как легкое перышко... Немного поколебавшись, Элли оставила его одного. Услышав, как за ней тихонько закрывается дверь, старик встрепнулся, сознание вернулось к нему. Еще мгновение он просидел неподвижно. Затем выдвинул ящик, который закрыл при появлении Элли, и достал из него разорванное на части письмо. Каждую часть он разорвал на мелкие кусочки, мелкие-мелкие, и ссыпал их в корзину для бумаг, где они перемешались с другими выброшенными бумагами. Потом он разорвал еще одно письмо, и третье, не читая. Кусочки ссыпал в корзину, потряс ее, и тряс, и тряс... Пока он рвал письма, устали его подагрические пальцы, пока тряс корзину, устала рука.

– После полудня продолжу... еще несколько... – пробормотал он. – Уже пора, уже пора...

### III

Около трех часов дня господин Такма вышел из дома, один, он не любил, чтобы его сопровождали, когда уходил из дома; он был бы рад, если бы ему помогли проделать обратный путь, но ни за что не стал бы об этом просить. Адель смотрела на него из окна и провожала взглядом, пока он огибал угол казармы и переходил через горбатый мост. Его путь не был далеким, он шел до угла Нассаулаан, до дома меффрау Деркс, и это расстояние проходил с гордой прямой спиной и негнушимися ногами; в пальто, застегнутом на все пуговицы, он выглядел не таким уж старым, хотя на самом деле каждый свой шаг тщательно продумывал и тяжело опирался на толстую трость с набалдашником из слоновой кости. Чтобы не подавать виду, что эта прогулка – его ежедневный спорт и ежедневное преодоление себя – невероятно тяжелы для него, черпавшего силы только из нервного напряжения, он продумывал каждый шаг, но со стороны казалось, будто он идет без труда, с прямой спиной; он рассматривал свое отражение в окнах первого этажа. На улице не бросалось в глаза, насколько он стар. Когда он звонил в дверь, старая служанка Анна бежала открывать, и кошка путалась у нее в юбках, служанка и кошка неслись открывать дверь вместе.

– Не иначе как господин Такма!

Анна прогоняла кошку на кухню, чтобы та не вертелась

под ногами у господина Такмы, и встречала его разговором о погоде, расспросами о самочувствии, и он снимал пальто, всегда в передней, тщательно продуманными движениями, чтобы оно легко соскользнуло с его плеч прямо служанке в руки. Утомленный от прогулки, он выполнял этот ритуал неспешно, заодно переводя дыхание, чтобы затем, опираясь на трость...

– А трость нам еще пригодится...

Чтобы затем, опираясь на трость, подняться по лестнице – всего один марш; меффрау Деркс никогда не спускалась в нижние комнаты.

Она ждала его...

Он приходил почти каждый день, а если не приходил, то посылал Адель или Элли сообщить, в чем дело. Так вот, она ждала его в своем большом кресле. Она сидела у окна с видом на окруженные садами виллы вдоль Софийской аллеи.

Его приветствие было шумным, но несколько сбивчивым:

– Да, Отилия... сегодня ветрено... да, ты ведь еще недавно кашляла... Береги себя, пожалуйста... а со мной все в порядке, все в порядке, ты же видишь...

Не переставая говорить в том же духе, все с тем же шумным благодушием, он с трудом опустился в кресло у второго окна; только теперь Анна взяла у него шляпу, руки в просторных перчатках из глянцевой кожи опирались на набалдашник трости.

– Мы еще не виделись после великой новости, – сказала

мефрау Деркс.

– Дети собираются к тебе сегодня с визитом...

Оба смолкли, глядя друг другу в глаза, скупые на слова. И они молча сидели друг против друга, каждый у своего окна, в этой узкой гостиной. Здесь, в полутьме гардин из винно-красной ткани в рубчик поверх кремовых тюлевых штор, за которыми шла винно-красная утеплительная драпировка, примыкавшая непосредственно к прямоугольнику рамы, эта старая-старая дама сидела дни напролет; при появлении господина Такмы она сделала одно-единственное движение – приподняла руку в черной митенке, чтобы Такма смог ее пожать. И вот теперь они вдвоем сидели неподвижно, словно чего-то дожидаясь, но умиротворенные тем, что дожидаются этого вместе... Ей было девяносто семь лет, и она знала, чего дожидается – того, что произойдет прежде, чем ей стукнет сто... В полумраке зашторенной комнаты, на фоне темнеющих обоев, ее лицо казалось белым фарфоровым пятном с морщинками-кракелюрами, заметными даже в тени, в которой она скрывалась по давней привычке, чтобы окружающие не замечали увядшего цвета ее лица, обрамленного гладко-черным париком под черным кружевным чепчиком. Черное просторное платье лежало изящными складками на ее хрупком тельце, но при этом столь полно скрывало его в неизменных складках мягкого кашемира, что казалось, будто ее вообще нет под этим темным покровом. Кроме лица живыми в ее облике были только покоившиеся на широком

подоле платья дрожащие тонкие пальцы, выглядывавшие из черных митенок; меховая опушка рукавов скрывала запястья. В своем кресле с высокой спинкой, похожем на трон, она сидела идеально прямо, опираясь спиной на жесткую подушку, и еще одна подушечка лежала у нее под ногами, тронутыми подагрой, которые она всегда скрывала от глаз окружающих. Рядом столик с вязаньем, хотя она уже много лет не прикасалась к нему, и газеты, которые ей читала компаньонка – пожилая дама, тотчас же покинувшая комнату, едва вошел господин Такма. Комната опрятная, простая, на стенах несколько портретов в рамах – единственное украшение между полированными, с черным блеском шкафами; винно-красное канапе, стулья, на этажерке приглушенный блеск фарфора. За раздвижной дверью, сейчас закрытой, находилась спальня; только в этих двух комнатах и обитала Пожилая Дама, свой легкий обед она всегда съедала, не вставая с кресла.

Золотом сияло солнце в этот осенний день, ветер весело дул, взметая первые желтые листья по садам на Софийской аллее.

– Какой чудесный вид, – сказала мейфрау Деркс, как говорила уже столько раз, и ее рука в митенке чуть шевельнулась, словно показывая за окно.

Ее голос, надтреснутый, звучал более мягко, чем если бы она говорила на чистом голландском языке, в нем слышался креольский акцент, и в глазах на фарфоровом лице, смот-

ревших в окно и неожиданно потемневших, тоже проявилось что-то креольское. Она плохо видела, что там, на улице, но для ее замутненного взгляда было важно, что там растут дорогие ее сердцу цветы и деревья.

– Какие красивые астры в саду напротив, – сказал Такма.

– Да, – согласилась мефрау Деркс, не видевшая их, но теперь знавшая об этих астрах.

Такму она слышала хорошо; при общении со всеми другими была глуха, но не подавала виду: никогда не переспрашивала и отвечала улыбкой своих тонких, плотно сжатых губ либо кивком головы.

Через некоторое время, в течение которого каждый из них смотрел в свое окно, она сказала:

– Вчера я виделась с Отилией.

Господин Такма на миг погрузился в дремоту.

– Отилией? – переспросил он, очнувшись.

– Да, Отилией... моей дочерью...

– Ах, конечно... ты вчера виделась с дочерью... Я подумал, ты о себе...

– Она плакала.

– Почему?

– Оттого что Лот собрался жениться.

– Она будет так одинока, бедняжка, хотя Стейн и хороший человек... Очень жалко... Мне-то Стейн очень нравится.

– Мы все одиноки, – сказала мефрау Деркс, и ее надтреснутый голос звучал так грустно, как будто она сожалела о

прошлом, населенном призраками, почти растаявшими.

– Нет, не все, Отилия, – сказал Такма. – У меня есть ты, а у тебя я... Мы всегда были вместе... А у нашей дочери после женитьбы Лота не останется никого, даже ее муж уже не с ней.

– Тссс! – произнесла Пожилая Дама; в темноте вся ее маленькая прямая фигурка содрогнулась от страха.

– Здесь никого нет, мы можем говорить спокойно...

– Да, правда, никого...

– А тебе показалось, что кто-то есть?

– Нет-нет, сейчас нет... Но иногда...

– Что иногда?

– Иногда... знаешь... мне кажется...

– Здесь никого нет.

– Да, правда...

– Чего ты боишься?

– Боюсь? Разве я боюсь? С какой стати мне бояться? Я стара... слишком стара, чтобы все еще... бояться... даже когда *он* стоит вон там.

– Отилия!

– Тссс!

– Здесь никого нет...

– Да, никого...

– Ты что, недавно его видела?

– Нет, нет... уже несколько месяцев не видела, может быть даже... больше года... Но много, много лет подряд... я его



видела, видела... А ты?

– Я нет...

– Но ты его слышал...

– Да...я его слышал... У меня всегда был очень острый слух, и я всегда страдал нервами... Это были галлюцинации... Я часто слышал его голос... Но не будем об этом... Мы оба такие старые, такие старые, Отилия... Он наверняка уже простил нас. Иначе мы бы не дожили до такого возраста. Наша жизнь столько лет подряд – столько долгих лет подряд – текла и текла совершенно тихо-мирно; нас ничто не беспокоило; он наверняка простил нас... А теперь... теперь мы оба стоим на краю могилы.

– Да, ждать осталось недолго. Я чувствую.

Но Такма изобразил на лице свое обычное благодушие.

– Ты что, Отилия! Ты доживешь до ста лет!

Такма рассчитывал, что его голос прозвучит игриво и беззаботно, но вместо этого сорвался на крик.

– Я не доживу до ста, – сказала старая дама. – Я умру нынешней зимой.

– Нынешней зимой?

– Да... Я это вижу. И жду. Но я боюсь.

– Чего боишься? Смерти?

– Нет, не смерти. Я боюсь... его.

– Ты веришь, что правда... его увидишь?

– Да. Я верю в Бога, во встречу после смерти. В загробную жизнь. В возмездие.

– Я не верю, Отилия, что после смерти нас ждет возмездие, ведь за нашу долгую жизнь мы оба столько выстрадали! – произнес старик чуть ли не плачущим голосом.

– Но мы не понесли наказания.

– Наказанием были наши муки.

– Этого недостаточно. Мне кажется, что когда я умру... то он, *он* на меня заявит.

– Отилия, мы прожили такую долгую жизнь, и такую спокойную. Мы страдали только в душе. Но этих страданий должно быть достаточно, Господь сочтет, что такое наказание было более чем суровым. Не бойся смерти.

– Я не боялась бы, если бы увидела у него на лице менее жесткое выражение, хоть чуть-чуть прощения. А он на меня всегда так строго смотрит... Эти глаза...

– Тише, Отилия...

– Когда я сидела здесь, он всякий раз стоял вон там, в углу рядом с этажеркой, и смотрел на меня. Когда я лежала в кровати, он показывался в зеркале и смотрел на меня. Много, много лет подряд... Быть может, то были галлюцинации... Но с этим я дожила до старости. Слезы у меня давно иссякли. Ломать руки я уже неспособна. Я перемещаюсь только между креслом и постелью. Ни беспокойства, ни страха... уже давно нет, ведь никто ни о чем не знает. От бабу<sup>3</sup>...

– От Ма-Бутен?

– Да... от нее уже много лет ни слуху, ни духу... Она един-

---

<sup>3</sup> Бабу – служанка или нянька из местного населения.

ственная, кто знал... и она наверняка уже умерла...

– Еще знает Рулофс... – произнес Такма тихо-тихо.

– Да... знает... но...

– Он всю жизнь молчал...

– Он... как мы... почти... соучастник...

– Отилия... не волнуйся... Мы дожили до таких преклонных лет... не волнуйся, как не волнуясь я, сколько бы ни вспоминал... Ты всегда была чересчур нервной.

В его голосе звучала мольба, от обычного благодушия не осталось и следа.

– Я стала нервной после *этого*... И никогда не могла думать о нем без волнения! Вначале я боялась... боялась людей; потом самой себя – мне казалось, я схожу с ума! А теперь, когда ждать осталось недолго... я боюсь Бога.

– Отилия!

– Какое это бесконечное, бесконечное мученье... О Боже, неужели так промучиться всю эту жизнь – недостаточно...

– Отилия, мы бы не дожили до таких лет – ни ты, ни я, ни Рулофс... если бы Господь... и если бы *он*... не простили бы нас.

– Но почему же тогда *он* так часто приходил сюда? *Он* так часто показывался вон там! И никогда ни слова не говорил. Просто смотрел и смотрел, бледный, с впалыми глазами, темными и буравящими, точно два огненных сверла, вот такие...

И она показала это своими изящными указательными

пальчиками...

– А я... я спокоен, Отилия. Ведь если нас ждет кара после нашей смерти, мы ее примем. А когда мы ее примем и выстоим... то придет черед Милости!

– Жаль, что я не католичка. Я долго размышляла, не перейти ли в католицизм. Тереза правильно сделала, что перешла в другую веру... Ах, отчего мы с ней почти совсем не видимся! Если бы мы с ней встретились... Я надеюсь... Я надеюсь... Если бы я была католичкой... я бы могла исповедаться...

– Но таких грехов у католиков не отпускают...

– Правда? А я думала... я думала, что католический священник может освободить от любого греха, помочь очистить душу перед смертью. После исповеди ведь стало бы легче... у меня ведь появилась бы надежда? Наша религия такая холодная. Я ни с одним пастором ни разу не смогла поговорить... об этом!

– Еще бы! Еще бы!

– С католическим священником я могла бы это обсудить. Он наложил бы на меня епитимью, на всю-всю жизнь, и мне стало бы легче. Эта тяжесть постоянно давит мне на грудь. А я такая старая. Она давит, когда я сижу. И когда лежу в кровати. Я даже не могу походить, побродить, забыться в движении...

– Отилия, почему ты вдруг так много говоришь сегодня об этом... Порой мы месяцами, годами не произносим об

этом ни слова. И тогда месяцы и годы проходят спокойно. Почему же сегодня ты вдруг все время возвращаешься...

– Я погрузилась в размышления, потому что Лот с Элли собираются пожениться.

– Они будут счастливы.

– А вдруг это грех, вдруг это кровосмешение....

– Нет, Отилия, вдумайся получше...

– Ведь они...

– Кузен и кузина. Они об этом не знают, но это не грех, не кровосмешение...

– Да, правда.

– Они не родные, а двоюродные.

– Да, двоюродные.

– Отилия – моя дочь, ее сын Лот – мой внук. Отец Элли...

– Что отец Элли?

– Вдумайся, Отилия. Отец Элли – мой сын – брат Отилии, матери Лота. Их дети – двоюродные брат и сестра.

– Да...

– Ну и все в порядке...

– Но они сами не знают, что они родственники. Отилия никогда не догадывалась, что ты ее отец. Отилия никогда не догадывалась, что твой сын – ее брат.

– Ну и что? Двоюродные брат с сестрой могут пожениться.

– Да, могут, но это нехорошо. Нехорошо для детей, которые у них родятся. Нехорошо в смысле крови и... вообще...

– В каком смысле, Отилия?

– Они унаследуют наше прошлое. Унаследуют Страх... Унаследуют наш грех. И наказание за содеянное нами.

– Ты преувеличиваешь, Отилия. Они не унаследуют все это.

– Все, все перейдет на них. Рано или поздно они увидят его, услышат его в тех новых домах, где они поселятся... Лучше бы Элли и Лот нашли свое счастье по отдельности, со спутниками жизни другой крови... с другой душой... Они не смогут обрести обычное счастье... Как знать, возможно, их дети станут...

– Тише, Отилия, тише!

– Преступниками...

– Отилия, умоляю тебя, замолчи! Замолчи же! Зачем ты так говоришь? Много лет все было спокойно. Понимаешь, Отилия, мы уж слишком старые. Это неправильно, что мы такие старые. Это уже наказание для нас. Давай больше не будем об этом говорить, никогда в жизни. Давай спокойно, спокойно ждать, что будет, и принимать все, как есть, потому что от нас ничего не зависит.

– Да, давай спокойно ждать.

– Давай ждать... Нам осталось уже немного. Совсем немного, и тебе, и мне.

В его голосе слышалась мольба; глаза блестели влажным блеском; она сидела, неподвижно выпрямившись в кресле, руки безудержно дрожали среди глубоких черных складок на коленях... Но вот обоих охватила сонливость; недавняя

ясность и исполненная страха возбужденность их странной беседы пробудили и заставили вибрировать их души лишь на миг, словно под воздействием порыва ветра, пришедшего извне... Теперь же оба угасли и разом состарились. И они еще долго сидели, каждый у своего окна, и бессмысленно смотрели, смотрели на улицу.

Тут раздался звонок в дверь.

## IV

Это пришел Антон Деркс, ее старший сын от второго брака; от первого брака у Пожилой Дамы была только дочь, Сэфани де Ладерс, старая дева. Антон тоже остался холостяком; он успешно служил в Ост-Индии и вышел в отставку в должности резидента<sup>4</sup>. Сейчас, в семьдесят пять лет, он был человеком молчаливым, мрачным, ушедшим в себя из-за долгих лет одинокой жизни, постоянно погруженным в мысли о себе самом. Ему было свойственно – сначала от природы, затем осознанно – маскировать свои чувства, не открываться даже в том, что принесло бы ему славу и любовь в обществе; обладая недюжинным умом, человек высокообразованный, он взрастил свой интеллект лишь для самого себя и в реальной жизни так и не поднялся выше уровня среднего чиновника. Его мрачная душа нуждалась в мрачном наслаждении для самой себя, как раньше, так и теперь, подобно тому, как его большое тело нуждалось в темном сладострастии. Он вошел в пальто, которого не стал снимать, чтобы не замерзнуть, хотя сентябрь только начался и светило солнце, так что осень почти не ощущалась. Он навещал мать раз в неделю, по давней привычке, рожденной почтением и уваже-

---

<sup>4</sup> Резидент – высокопоставленный служащий нидерландской колониальной администрации, стоящий во главе административной области («резидентства»), на которые была поделена Нидерландская Индия (современная Индонезия).



нием. Все дети – теперь уже пожилые люди – приходили сюда регулярно, но в передней непременно справлялись у Анны, служанки с неизменной кошкой на коленях, нет ли кого-нибудь наверху, у *taman*. Если там уже был кто-нибудь из родственников, они не шли на второй этаж сразу, чтобы не утомлять матушку присутствием нескольких людей и множеством голосов. В таких случаях Анна принимала их в гостиной первого этажа, которую протапливала в зимнее время, и нередко угощала сливовой наливкой. Анна обязательно сообщала им, если только что пришел господин Такма, и тогда дети и внуки выжидали минут пятнадцать, прежде чем подняться на второй этаж, так как знали, что *taman*, или *grand-taman*, любит побыть наедине с Такмой, своим давним другом. Если же после появления Такмы уже успело пройти какое-то время, Анна прикидывала, можно ли пустить родственников наверх... В дневное время компаньонки обычно не было, за исключением тех случаев, когда госпожа просила позвать ее, оттого что из-за плохой погоды к ней никто не пришел.

Антон Деркс вошел в комнату, в нерешительности из-за Такмы, опасаясь, не помешает ли. Дети госпожи Деркс, хоть и сами в летах, по отношению к ней оставались детьми и по-прежнему видели ее, некогда строгую и вспыльчивую мать, сквозь призму ее материнского авторитета. Так воспринимал ее до сих пор и Антон, ее, постоянно сидящую в кресле, точно на королевском троне, – странно для человека, в

ком осталось так мало жизни, висевшей на последней тонюсенькой ниточке; порвись ниточка и прекратится жизнь. У окна в полумгле, винно-красной из-за гардин и висевших на окнах кусков бархата от сквозняка, освещенных вечерним солнцем, мать сидела так, что казалось, будто она никогда уже не пошевелится до того самого мгновения, когда раскроются врата тьмы... Ибо дети никогда не видели, чтобы она двигалась, за исключением одного-единственного угловатого жеста, производимого некогда такими подвижными, но теперь подагрическими пальчиками... Антон Деркс знал: если в этот день врата не раскроются, то *татап* придет в движении вечером, около восьми, когда Анна с компаньонкой поведут ее в кровать. Но этого он никогда не видел; своими глазами он видел неподвижную безжизненную фигуру на кресле-троне, в розоватых сумерках. И его, человека в летах, эта картина поразила. *Матап* сидела так странно, почти нереально: она дожидалась, дожидалась чего-то... ее остекленелый взгляд был устремлен в никуда, порой казалось, что она чего-то боится... Этот одинокий человек развил в себе обостренную наблюдательность и комбинаторский дар, о которых никто никогда не догадывался. Он уже давным-давно стал замечать, что его мать постоянно о чем-то думает... постоянно о чем-то одном, всегда о том же самом... О чем же? Быть может, он ошибался, вкапывался слишком глубоко, и взгляд матери был лишь взглядом полуслепых глаз... Или она думала о том, что было скрыто в ее жизни, о том, что

лежало в глубине ее жизни, как в темной, темной пучине? Прятала ли она какие-то тайны, подобные тем, что были у него, тайны его мрачного сладострастия? Любопытства он не испытывал: у всех есть свои тайны, и у *tatan* тоже... Он не станет пытаться их выяснить... Говорили, что когда-то у нее была связь с Такмой, вот она теперь и думает о прошлом... или уже не думает, а только дожидается, глядя в окно... Как бы то ни было, он оставался тем же почтительным сыном.

– Хорошая погода для сентября, – сказал он, поздоровавшись.

Антон Деркс был человеком рослым и широкоплечим, у него было полное, смуглое лицо, изборожденное морщинами, с глубокими складками у выразительного носа и щек, седые с желтоватым оттенком усы, торчащие щеточкой над чувственным ртом с толстыми красными губами, между которыми виднелся нестройный ряд еще крепких зубов; даже сразу же после бритья его щеки имели синеватый оттенок от мелких точек пробивающейся густой растительности; на лбу с двумя глубокими морщинами был хорошо заметный шрам, над ним – негустая седеющая шевелюра, переходящая в лысый череп. Грубая кожа на крепкой шее сзади над воротничком образовывала складки, хоть и не слишком глубокие, как у старого рабочего. Руки, огромные и грубые, лежали двумя глыбами на массивных коленях; на толстом животе, на котором одна пуговица жилета не застегивалась, болталась цепочка от часов с множеством брелоков. Ноги в сапогах,

отвороты которых изгибали линию брюк, крепко стояли на ковре. По внешнему облику было видно, что это уже немолодой, грубый, сластолюбивый человек, в нем не прочитывался ни интеллект, ни тем более воображение. То, что Антон Деркс – великий фантазер, оставалось тайной для всех, кто видел его только таким, как сейчас.

Бывший на много лет старше Антона Деркса Такма, благодушный и шумливый, чей старческий голос порой давал петуха, Такма, в короткополом пиджаке-вестоне, сверкающий вставными зубами, казался рядом с ним изящным, моложавым и подвижным; в Такме сквозила мягкость, добрая, благодушная понятливость, как будто он, глубокий старик, видел всю жизнь «молодого» Антона Деркса как на ладони. Но самого Антона это раздражало, ибо он видел, что что-то здесь не так. Благодушные Такмы что-то скрывало; да, Такма что-то скрывал, хотя делал это иначе, чем Антон Деркс. Такма что-то скрывал: придя в себя после резкого рывка головой, он испытывал страх, это было видно... Впрочем, любопытства Антон не испытывал... Но этот древний старик, бывший любовник его матери, матери, вызывавшей у сына благоговение, когда он смотрел на нее, сидящую с прямой спиной, в ожидании, в кресле у окна, – этот старик раздражал его, действовал ему на нервы, всегда был ему несимпатичен, всегда. Но Антон никогда не подавал виду, и Такма ни о чем не догадывался.

Так и сидели в узкой гостиной, лишь изредка обменива-

ясь несколькими словами, эти три старых человека; старая дама успокоилась, овладев собой, едва вошел ее сын, ее «ребенок», ибо всегда сохраняла невозмутимость, когда на нее был обращен взгляд его слегка навывкате глаз, серых, чуть желтоватых от разлитой по организму желчи. Она сидела с прямой спиной, точно на троне, в силу своего возраста и авторитета – царица, величественная и безупречная, но настолько слабая и хрупкая, что казалось, будто дыхание Смерти вот-вот развеет ее душу. В немногих сказанных ею словах слышалось удовлетворение от того, что ее пришел навестить сын, который, следуя сыновнему долгу, раз в неделю справлялся о ее здоровье. Она радовалась этому, и ей было нетрудно сохранять спокойствие, ощутив внезапное умиротворение от его прихода, несмотря на то что еще минуту назад, словно повинувшись какому-то внешнему воздействию, разговаривала о Том, что произошло давным-давно и что вновь проплыло перед ее взором. И когда опять зазвонил звонок, она сказала:

– Наверное, это дети...

Все трое смолкли, обратившись в слух; старик Такма отчетливо услышал, что в передней кто-то разговаривает с Анной.

– Они спрашивают, не будет ли слишком много народу, – сказал Такма.

– Антон, позови их, пожалуйста, сюда наверх, – сказала Пожилая Дама, и ее слова прозвучали материнской коман-

дой.

Антон Деркс подошел к двери крикнул вниз:

– Поднимайтесь, *grand-maman* ждет вас.

Лот и Элли вошли в комнату; в том, как они вошли, читалась робость, они как будто боялись нарушить атмосферу в комнате старой дамы своей чрезмерной молодостью. Но старая дама приветствовала их, протянув к ним обе руки, скрытые в черных просторных складках широких рукавов, и это движение, подагрически-угловатое, было окрашено в розовый цвет полумрака от портьер. Она сказала:

– Так вы собираетесь пожениться; это хорошо...

Руки в митенках поднялись к голове Лота и на миг охватили ее, пока бабушка дрожащими губами целовала внука в лоб, затем она поцеловала Элли, и девушка сказала, приветливо улыбнувшись:

– *Grand-maman*...

– Я рада видеть вас вместе. *Maman* уже сообщила мне, это великая новость... Будьте счастливы, дети, будьте счастливы...

Ее слова прозвучали торжественно, словно произнесенные венценосной особой, сидящей на троне в полумраке, но голос, надтреснутый от волнения, дрожал. Будьте счастливы, дети, сказала старая дама, и Антону Дерксу показалось, что в этот миг она думала о том, что счастливые браки в их роду – большая редкость... В ее словах он уловил эту заднюю мысль и в душе порадовался, что сам не женат; при взгляде

на Лота и Элли он ощущал теперь тихое, сладкое удовлетворение. Они сидели в этой гостиной такие молодые, в начале нового этапа своей жизни, но Антон знал, что это лишь видимость: ведь Лоту уже тридцать восемь лет, а для Элли это вторая помолвка. И тем не менее сколько в них молодости и сколько у них впереди лет чистой новой жизни! Он ощутил ревность, и глаза его пожелтели еще больше при мысли о собственной жизни, которая уже никогда не будет новой и чистой. И глянув на Лота порочным взглядом мрачного сластолюбца, хранящего тайну собственной чувственности, он спросил себя, будет ли Лот настоящим мужем для Элли. Лот с его нежным телосложением был очень похож на свою мать: розовощекий блондин со светлыми усиками и скептической улыбкой на губах, скрупулезно следящий за тем, чтобы на идеально облегающем его костюме не было ни единой складки, а галстук-бабочка был элегантно завязан под двойным воротничком. И все же он очень неглупый юноша, размышлял Антон Деркс, его заметки об Италии, об искусстве Ренессанса были прекрасно написаны, и он, Антон, прочитал их с удовольствием, хоть и воздержался от комплиментов автору; и очень неплохи были его два романа, в одном действие происходило в Гааге, в другом – в Ост-Индии, причем тамошние нравы были подмечены очень точно. В этом мальчике богатое содержание, гораздо богаче, чем кажется с виду, потому что он выглядел ничем не примечательным молодым человеком, блондином с кукольным личиком, кар-

тинкой из модного журнала. Элли с ее бледноватым, но умным лицом не была красавицей, Антон Деркс считал, что ее нельзя назвать женщиной, созданной для любви, хотя, возможно, со временем это изменится. Он не мог себе представить, чтобы Лот и Элли, влюбленные друг в друга, много целовались, а ведь это – самое главное утешение в нашей тяжелой жизни, во всяком случае, так всегда было для него, Антона. При воспоминании о том, чего не вернешь, взгляд его желтоватых глаз подернулся дымкой, но он продолжал прислушиваться к разговору, тихому и неторопливому, чтобы не утомить *grand-taman* на какой день у Лота и Элли назначена свадьба, когда они отправятся в путешествие.

– Мы поженимся через три месяца: нам незачем выжидать время, – рассказывал Лот. – Из Парижа поедem в Италию, я хорошо знаю Италию и буду для Элли проводником...

Антон Деркс встал и попрощался. Спустившись вниз, обнаружил в маленькой гостиной свою сестру Отилию Стейнде Вейрт и старого доктора Рулофса.

– Дети наверху, – сказал он.

– Да, я знаю, – ответила *taman* Отилия. – Поэтому я и не иду наверх, чтобы не утомить *taman*...

– Так-так-так, – пробормотал старик-доктор.

Он сидел, тучный, развалившись на стуле бесформенной массой; одну негнущуюся ногу он выставил вперед, и над ней нависал его огромный живот. Чисто выбритое, но изборожденное морщинами лицо казалось лицом старого-престаро-



го монаха; жидкие седые волосы, словно проеденные молью, неровно покрывали череп, похожий на глобус; на виске синела, подобно реке, рельефная вена; он то и дело что-то восклицал слабым голосом; под очками в золотой оправе слезились бесцветные глазки.

– Так-так-так, Отилия, наконец-то твой Лот собрался жениться...

Ему было восемьдесят восемь лет, этому старику-доктору, единственному, кто еще остался жив из поколения *grand-tata*n и господина Такмы; Отилия родилась у него на глазах, когда он был еще начинающим врачом, недавно переехавшим из Голландии в Ост-Индию, поэтому он называл ее по имени, или говорил ей «деточка».

– «Наконец-то»! – воскликнула *tata*n Отилия с раздражением. – По мне, так это слишком рано!

– Конечно, конечно, деточка, ты будешь без него скучать, ты будешь скучать без своего мальчика... Но они прекрасная пара, Лот и Элли, так-так, конечно, да-да... Оба преданы искусству, будут вместе, да... Наша добрая Анна сегодня еще не протопила! В этой комнате тепло, а там, наверху, холодрыга... Такма-то никогда не мерзнет, у него прямо огонь внутри, не правда ли? Так-так... *Mata*n тоже любит, когда прохладно... Где уж там прохладно, я бы сказал, холодно... Здесь-то потеплее... А вчера *tata*n было нехорошо, деточка!

– Да уж, доктор, – сказал Антон Деркс. – Благодаря вашим

заботам матушка доживет до ста лет!

И, застегнув пальто, Антон ушел, довольный, что уже выполнил свой сыновний долг за эту неделю.

– Нет-нет-нет! – возразил доктор, но Антон уже закрыл за собой дверь. – До ста лет! До ста лет! Нет-нет, где уж там, я уже ни на что не способен, ни на что... Ведь мне восемьдесят восемь, восемьдесят восемь... Восемьдесят восемь, детка! Да, это возраст, ничего не скажешь, так-так... Нет, я ни на что не способен... Хорошо, что у *татап* есть доктор Тиленс, он-то молодой, да-да, он молодой... Вон дети уже спускаются! Так-так, добрый день, – поздоровался доктор. – Поздравляю! Очень за вас рад, очень за вас рад... Оба преданы искусству, не правда ли, оба преданы! С бабушкой все в порядке? Тогда я к ней поднимусь, так-так, ну-ну...

– Дети, а куда вы теперь направляетесь? – спросила *татап* Отилия.

– К тетушке Стефании, – сказала Элли. – А потом, возможно, к дяде Харольду.

Анна проводила их до двери, и *татап* Отилия, следуя за доктором Рулофсом, преодолевавшим ступеньку за ступенькой, вслушивалась в его бормотанье, но ничего не понимала: он бурчал себе под нос:

– Да-да, ох уж этот Антон, ну и ну... До ста лет! До ста лет! Что ж, он-то уж точно дотянет до ста лет... Да-да... хоть и был свиньей... Да-да, был свиньей!.. будто я не знаю! Знаю, знаю... Свиньей, свиньей... да, так, а может, он и сейчас сви-

нья!

– Как вы сказали, доктор?

– Ничего, ничего, детка... До ста лет? А я сам, я и сам старый, восемьдесят восемь, восемьдесят восемь.

Пыхтя после лестницы, он вошел в комнату и поздоровался с двумя старыми людьми, почти его ровесниками, кивающими ему, каждый у своего окна:

– Так-так, добрый день, Отилия... Добрый день, Такма...

Ну-ну, да-да... вообще-то тут не жарко...

– Разве? Ведь только-только начался сентябрь...

– Ну-ну, это у тебя всегда огонь внутри...

За ним следом, как маленькая девочка, вошла *татап* Отилия; она поцеловала мать, нежно и с осторожностью, а когда потом подошла поздороваться с Такмой, тот притянул ее к себе за руку, так что она поцеловала и его.

## V

*Папа* Деркс оставил совсем небольшое наследство, но Стефания де Ладерс, единственная дочь от первого брака, была богата; и если у *grand-taman* от состояния первого мужа почти ничего не осталось, виной тому была ее расточительность. Зато Стефания, наоборот, всегда берегла и копила каждый цент, сама не зная зачем – просто из наследственной потребности следовать принципу «деньги к деньгам». Жила она в небольшом доме на Ява-страат, и была известной благотворительницей. Она помогала людям разумно и экономно. Лот и Элли застали тетю дома; она поджидала их в комнате, среди щебета птичек в клетках, да и сама была похожа на пичужку: небольшого роста, худощавая, сморщенная, она семенила по дому, точно птичка, подвижная, несмотря на возраст; эта очень некрасивая старуха с узкими плечами и костлявыми руками казалась маленькой ведьмочкой, она никогда не была замужем, не ведала страстей и неудовлетворенных потребностей, замкнутая в своем мелком эгоизме, она дожила, никому не причинив вреда, до старости и пронесла через всю жизнь одно-единственное чувство: страх попасть после смерти, которая была уже не за горами, в ад. Она была очень религиозна, не сомневаясь в истинности кальвинизма для всех людей и на все века, и, слепо следуя своей вере, читала все в этом духе, что только попадало ей в ру-

ки – от популярных религиозных брошюр до теологических трактатов, хотя последних не понимала, а первые наполняли ее ужасом.

– Какая неожиданность, дети мои! – воскликнула тетушка Стефания де Ладерс чуть-чуть громковато, как будто Лот с Элли были глухими. – И когда же свадьба?

– Через три месяца, тетушка.

– Вы женитесь в церкви?

– Все-таки нет, – сказал Лот.

– Так я и думала!

– Значит, вы очень проникательны.

– Но это неправильно. А ты, Элли, и ты тоже не хочешь церемонии в церкви?

– Да, и я тоже, тетушка, я согласна с Лотом... Вы не возражаете, что я называю вас «тетушка»?

– Ну конечно, деточка, конечно, зови меня тетушкой. Нет, свадьба без церкви – это неправильно. Но вы набрались этого у Дерксов, Дерксы никогда не задумывались о том, что их ждет на том свете...

Птички щебетали, в высоком голосе старухи слышались агрессивные нотки.

– Если бы на свадьбе мог присутствовать мой *grand-papa*, я бы, возможно, ради него решилась на церковь, – сказала Элли. – Но он слишком стар. А *taman* Лота тоже не ходит в церковь.

– Еще бы! Куда уж ей! – воскликнула тетушка Стефания.

– Вот видите, тетушка, вы единственная в семье, кто еще ходит в церковь, – сказал Лот; он редко виделся со Стефанией, а когда виделся, то любил ее дразнить.

– А ради меня жениться в церкви, разумеется, не стоит, – сказала тетушка притворным голосом и про себя подумала: я не оставлю им в наследство ни цента, раз они не ходят в церковь и поступают не так, как полагается... А я ведь собиралась кое-что им завещать... А теперь все-все завещаю внукам Харольда. Они хотя бы делают все так, как надо... Но когда Элли хотела встать, тетушка, любившая гостей, сказала:

– Посидите еще, ладно, Элли? Я так редко вижу Лота, а ведь он мой родной племянник... Нет, мальчик, это неправильно... Ты же знаешь, что я всегда говорю правду. С молодости. Я старшая дочь в семье; с такими родственничками, как у нас, которые нередко поступают неправильно, я должна была говорить правду... Но я действую с тактом... Без меня дядюшка Антон совсем бы пропал, хотя он и теперь все равно не всегда поступает правильно... Но я не брошу его на произвол судьбы. Дядю Даниэля и особенно дядю Харольда с их детьми, их я очень поддержала...

– Да, тетушка, вы незаменимы, – сказал Лот. – Но с тетей Терезой вы ничего не смогли поделать. Она стала католичкой, здесь ваше влияние не помогло.

– Тереза – душа пропадающая! – вскричала тетя Стефания. – С Терезой я уже давно не имею ничего общего... Но если

я кому-то могу помочь, то готова пожертвовать собой. Для Харольда я делаю все, что в моих силах, и для его детей тоже; для Ины я – вторая мать, да и для д’Эрбура тоже: вот уж порядочный мужчина, и Лео с Гюсом – вот уж порядочные мальчишки.

– И еще, – сказал Лот, – не забудьте про Лили, ведь она, не задумываясь, назвала своего сына и наследника в вашу честь, хотя лично мне имя Стефанус кажется странноватым!

– Да, уж ты-то своих детей в мою честь не станешь называть, – ответила тетушка громким голосом сквозь щебет птичек, – даже если у тебя родится полдюжины дочерей. Семья дяди Харольда всегда была ко мне более почтительна, чем семья твоей матушки, особенно эти Тревелли! И все же, Лот, одному Богу известно, сколь многим мне обязана твоя мама, без меня она бы пропала! Я говорю это не для того, чтобы сделать тебе больно, честное слово, но без меня, Лот, она бы пропала! Так что можешь сказать мне спасибо! Ты же понимаешь, твоя мамочка с ее двумя разводами и тремя мужьями... Нет, Лот, так не поступают.

– Да, тетушка, в нашем добропорядочном семействе мама – черная овечка.

– Нет-нет, – тетя Стефания покачала своей подвижной головкой, и птички защебетали еще громче, соглашаясь с ней. – Наше семейство не такое уж добропорядочное. В целом оно никогда не было правильным. О моей собственной матушке говорить не буду, но ясно одно: она слишком рано

осталась без моего отца. Папа Деркс не шел с ним в сравнение...

– Вообще-то из Дерксов никто не идет в сравнение ни с кем из Ладерсов, – сказал Лот.

– Ты смеешься надо мной! – сказала тетя, и птички защебетали с возмущением. – Но тем не менее ты, сам того не желая, говоришь правду. Я не говорю о твоей матушке, она – прелестный ребенок, и ее я люблю, но все остальные Дерксы, кроме дядюшки Харольда, все они – это...

– Это что, тетя Стефания?

– Это сборище истеричных грешников! – выкрикнула Стефания с нотками агрессии в голосе. – Дядя Антон, дядя Даан, тетя Тереза и, конечно, хоть фамилия у нее и другая, но кровь та же, твоя сестра Отилия!!! Все они истеричные, и все грешники!

А про себя Стефания подумала: и твоя матушка, милый мальчик, точно такая же, хоть я на словах сделала для нее исключение...

– Как я рад, что моя дерксовская истеричность уравновешивается паусовскими спокойствием и невозмутимостью, – сказал Лот, а про себя подумал: тетушка права, но источник всего – ее собственная мать... Только в тете Стефании это не проявилось.

Тем временем тетушка продолжала, поддерживаемая щебетанием птичек:

– Я говорю это не для того, чтобы обидеть тебя, милый



мальчик. Я, наверное, сурова, но говорю правду, как положено. Кто в нашей семье говорит правду, как положено?

– Вы, тетушка, только вы!

– Да, только я! – воскликнула Стефания, и в знак согласия птички еще громче защебетали в своих клеточках. – Элли, не уходите, посидите еще немного. Я так рада, что вы пришли. Элли, позвони в колокольчик, Клаартье принесет тогда сливовую наливку; я делаю ее по рецепту Анны, бабушкиной служанки, а она ее делает, как положено.

– Тетушка, простите, нам правда надо еще многое успеть.

– Не спешите, всего по одной сливе! – настаивала Стефания, и птички вместе с ней. – А то тетушка подумает, что вы обиделись, оттого что тетушка сказала правду...

Служанка принесла сливовую наливку с цельными ягодами, после первой же рюмочки тетушка подобрела, и даже когда Лот спросил поверх птичьего гама:

– Тетушка, а вы сами никогда не бывали истеричной? Стефания ответила:

– Истеричной? Нет, никогда! Грешницей – была, да, я грешна, как все люди. Но истеричной, как дядя Антон, тетя Тереза и... твоя сестра Отилия... я не была никогда!

И птички подтвердили ее слова.

– Но вы же были когда-то влюблены, тетушка. Поведайте мне, пожалуйста, о вашем романе, и я напишу о нем отличную книгу.

– Ты и так слишком много рассказал о нашей семье в сво-

их греховных книжках, тетушка не станет тебе ничего рассказывать, даже если влюблялась сорок раз. Постыдись! Напиши добродетельную книгу – утешение для души, но не вкапывайся в чужие грехи, какими бы красивыми словами ты их потом ни описывал.

– Значит, вам все-таки нравятся слова в моих книгах.

– Мне ничего не нравится в твоих книгах, то, что ты пишешь, – это святотатство! Элли, вы правда собрались уходить? Но ведь не оттого, что я осуждаю книги Лота? Правда? Тогда давайте еще по одной сливе... Обязательно возьми рецепт у Анны. Ну хорошо, дети, до свидания! И подумайте, что вы хотите получить от тетушки в подарок. Скажите сами, что пожелаете, то тетушка вам и подарит, как положено!

Птички согласились со словами Стефании, и пока Элли с Лотом прощались, их щебет весело провожал их до двери.

## VI

– Уф! – сказал Лот, выйдя на улицу, и заткнул уши, оглохшие от щебета птичек. – Больше никаких дядюшек и тетушек, я не пойду ни к дяде Харольду, ни к д’Эрбурам! Бабушка, будущий дедушка, дядя, тетя и выживший из ума домашний врач – хватит старичья! Из старшего поколения я сегодня больше никого не перенесу, даже дядю Харольда, хоть он и очень хороший. Столько стариков, в один день, они на меня давят, от них тяжело дышать... Давай прогуляемся, если ты не устала. Погода отличная, ветерок такой свежий, дождя уже не будет... Поехали в дюны! Вон как раз идет паровой трамвай, доедем до Белого моста, и оттуда уже близко... поехали!

Они доехали до Белого моста и быстро дошли до дюн, там сели на песок, обдуваемые бризом.

– Я так не хочу стариться, – сказал Лот. – Элли, ведь это ужасно – с каждым днем становиться все старше и старше...

– Ты опять сел на своего конька, Лот? – спросила Элли.

Она улыбнулась; он посмотрел на нее серьезно, побледнев, но заметив, что она улыбается, ответил как можно веселее:

– Это не просто мой конек, это преследующий меня кошмар... С каждым днем все больше морщин, седина в волосах, а память и чувства притупляются, и на животе появля-

ются складки, из-за которых не застегивается жилет, а спина сгибается под грузом прошлого, который ты повсюду с собой таскаешь... и ничего тут не сделаешь, ни-че-го... Если у тебя истрепался костюм, покупаешь новый: это я рассуждаю как капиталист. А тело и душа даются на всю жизнь, и с ними ты живешь до самой могилы. Если то и другое будешь слишком беречь, то получится, что ты не жил, если то и другое станешь транжирить, то слишком скоро обоих лишишься... Да еще прошлое, которое повсюду таскаешь за собой. С каждым днем его груз растет неумолимо. А мы, бедные мулы, тянем его и тянем, пока не упадем замертво... Ах, Элли, это ужасно! Помнишь, как эти старики сегодня... Твой дед Такма и моя *grand-maman*...! Мурашки по коже. Они сидят так почти каждый день, каждый у своего окна, ей девяносто семь лет, ему девяносто три... О чем они еще могут разговаривать? Наверно, мало о чем – о своих болячках, о погоде, такие старики всё больше молчат, они уже отупели... и многое забыли... Их давнее прошлое давит на них тяжким грузом, они уже полуживые... живут только прошлым... у каждого свое прошлое. Интересной ли была их жизнь? Думаю, что да, иначе эти двое стариков не встречались бы каждый день... Наверняка в их жизни было что-то важное, что они пережили вместе.

– Да, ведь поговаривают, что мой дед...

– Да-да, был любовником *grand-maman*... Такие старики, в это трудно поверить, когда смотришь на них теперь! Лю-

бовь, страсть... поразительно! Они явно пережили вместе что-то важное. Не знаю... когда я вижу их вместе, мне всегда кажется, что их что-то связывает, какие-то невидимые нити – воспоминания о трагедии, такой давней, что она обветшала и распалась на нити, и теперь эти нити тянутся между ними... И все же их разум наверняка притупился... не верю, что они много разговаривают, думаю, просто смотрят друг на друга или в окно, и истончившиеся нити протягиваются между ними и связывают их жизни... Как знать, быть может, это было что-то интересное, что можно использовать как сюжет для романа...

– А у тебя сейчас нет на примете сюжета?

– Нет, я уже давно не могу найти сюжета для романа. Думаю, романов я больше писать не буду. Понимаешь, Элли, я слишком... состарился, чтобы писать для людей молодых, а кто еще читает романы...

– Но ты же пишешь не только ради публики, занятия искусством важны для тебя самого!

– Это слишком абстрактная мысль, слишком абстрактный принцип... Всё так, и пока ты молод, приятно играть в страсть к искусству, в молодости увлекаешься чистым искусством, как спортом, или как кулинарией. На самом деле в жизни искусство – это далеко не все. Искусство – вещь прекрасная, но оно не может быть самоцелью. У художников, хоть они претендуют на очень многое, жизненная цель такая узкая...

– Но, Лот, ведь художники – властители дум...

– Властители дум? Даже для людей, восприимчивых к искусству, книги, картины, оперы – не более чем развлечение. Не обманывай себя. Виды искусства – это маленькие башенки из слоновой кости с узкой-узкой дверью для посвященных. А на жизнь искусство не воздействует ни капли. Все эти напыщенные определения искусства, Искусства с большой буквы, выдуманные современными писателями – это лишь череда выпретенных фраз. Искусство – это развлечение, и художник только развлекает публику, и композитор тоже, как и писатель-романист.

– Нет, Лот, нет...

– Уверяю тебя, это так. Ты теперь увлечена мыслью о красоте, Элли, но, поверь, это пройдет. Любители искусства только прикидываются. Артисты всего лишь развлекают людей – и себя, и других. Так было уже во времена средневековых трубадуров. Можно писать слово Искусство с большой буквы, но по сути это все равно лишь развлечение. В двадцать три года – как тебе сейчас – мы думаем, что это полубоги. Но нет, это простые люди, которые развлекают себя и других, в большинстве своем малодушные, завистливые, ревнивые, не признающие собратьев по цеху, в постоянном упоении от собственных принципов, собственного искусства, высокой жизненной цели; они столь же малодушны и завистливы, как люди из любой другой области. Почему я не имею права говорить, что писатели просто развлекают се-

бя и читателей? Они развлекают себя своим горем и букетом других чувств, а печальными сонетами и слегка туманными романами они развлекают ту горстку молодежи, которая их читает. Ведь те, кому за тридцать и кто не связан с литературной деятельностью, уже не читают ни романов, ни стихов. Я сам уже слишком стар, чтобы писать для молодежи. В моем возрасте, когда я пишу, я в силу своих буржуазных предрассудков хочу, чтобы меня читали мои ровесники, те, кому под сорок. А их интересует реальная жизнь, ее психологическая подоплека, показанная правдиво и конкретно, а не затуманенная или поэтизированная вымышленными персонажами. Так что я журналист и этому рад. Быстро захватить читателя своим рассказом и так же быстро отпустить, потому что ни у него, ни у меня нет больше времени... Жизнь бежит вперед и вперед... А завтра я снова захвачу его, вовсе не желая удерживать его внимание дольше, чем сегодня. Вот что такое журналистика в нашей эфемерной жизни, это эфемерное и правдивое искусство, я стремлюсь к форме хрупкой, но чистой... Я не говорю, что уже всего здесь достиг, но таков мой идеал художника.

– Значит, ты больше не будешь писать романов?

– Кто может утверждать, что чего-то никогда не будет делать? Стоит что-то сказать – и тут же поступаешь наоборот. Как знать, что я сделаю через год. Если бы я знал перипетии жизни *grand-maman*, ее личной жизни, я бы, возможно, написал роман. Это почти история, и точно так же, как я счи-

таю важной историю нашего времени, позволяющую строить предположения о будущем, так и минувшее полно для меня значимости, несмотря на то что история давит на человечество и на человека, а наше старичье давит на меня. Жизнь *grand-taman* – это почти история: чувства и события давних лет...

– Лот, я бы хотела, чтобы ты занялся серьезной работой.

– Я начну работать, как только мы приедем в Италию. Лучше всего, Элли, вообще не думать о том, где жить. Не будем жить ни у *taman*, ни своим хозяйством... Давай путешествовать. Когда совсем состаримся... тогда и покроемся ржавчиной, еще успеем. А в Италию меня тянет грандиозное Прошлое. Через Возрождение я хочу проникнуть в Античность, но пока до таких глубин мне не удалось добраться; стоя на Форуме, я не перестаю думать о Рафаэле и Леонардо...

– Значит, через Париж... в Ниццу...

– И в Италию, если ты согласна. А в Париже нанесем визит еще одной тетушке.

– Тетушке Терезе...

– Она у нас католичка, святее папы Римского, а в Ницце живет Отилия... Элли, ты ведь знаешь, что Отилия живет с итальянцем, хоть они и не женаты, но ты же из-за этого не откажешься с ней встретиться?

– Да уж наверное, Лот, – улыбнулась Элли. – Я очень хочу снова повидаться с Отилией. В последний раз я слушала ее



тение в Брюсселе...

– Голос у нее божественный...

– И она – красивая женщина.

– Да, и похожа на *рара*, она крупная, с мамой ничего общего... С *татап* она никогда не ладила. Она и жила в основном у *рара*. Она уже не так молода, на два года старше меня. Мы два года не виделись. Как же я ее найду... И точно ли она все еще со своим итальянцем... Знаешь, как они познакомились? Случайно, в поезде. Ехали вместе из Флоренции в Милан. Он был офицером, они разговорились... и с того дня больше не расставались. Он вышел в отставку, чтобы следовать за ней повсюду, где она будет петь... Думаю, что они и теперь вместе. «Истеричные грешники», сказала бы тетушка Стефания. Как знать, быть может, Отилия встретила свое великое счастье... и без оглядки приняла его... А большинство людей оглядываются... и колеблются...

– Мы с тобой не такие, как Отилия, Лот... но мы не колеблемся... и не оглядываемся...

– Элли, ты уверена, что любишь меня?

Она наклонилась ближе к Лоту, лежавшему на песке, опираясь на локти. И она ощутила где-то в самой глубине себя любовь, горячую потребность жить ради него, полностью раствориться в его жизни, разбудить его, заставить работать, создавать что-то великое... Эта любовь расцвела в ней цветом после пережитых страданий. Сейчас, под бескрайним небом, по которому плыли облака, как целая флотилия с на-

дутыми ветром белыми парусами, в ней мелькнуло смутное и неосознанное сомнение, будет ли он нуждаться в ней так, как она жаждет служить ему... Но морской бриз развеял это сомнение, ее почти материнская любовь была столь искренна и горяча, что она наклонилась и поцеловала его и произнесла с убеждением, уверенная в себе, а то и в их будущем: – Да, Лот... уверена...

И его последние сомнения растаяли в улыбке его души после столь нежного и простого подтверждения ее любви к нему ради него самого, как он думал, и душа, к его изумлению, наполнилась блаженством: казалось, что счастье уже совсем близко.

## VII

Харольд Деркс, второй сын, был двумя года младше Анто-на – ему было семьдесят три; вдовец, он жил вместе со своей единственной дочерью Иной, которая, состоя в браке с йонкером<sup>5</sup> д’Эрбуром, родила троих детей. Ее дочь Лили, молодая женщина, платиновая блондинка, была замужем за офицером-артиллеристом Ван Вели, сын Пол был студентом, а Гус – гимназистом.

Ина д’Эрбур, вращавшаяся в высшем обществе, порой ощущала недовольство из-за того, что семья ее отца в целом не отличалась той безупречностью, к которой она сама стремилась. Она была полностью согласна с тетюшкой Стефанией, которой неизменно выражала почтение также и по иным причинам; обе считали, что *grand-maman* поступила дурно, когда после первого брака с аристократом де Ладерсом вышла замуж за куда более простого Деркса – хотя сама Ина принадлежала к роду Дерксов, и факт её существования был бы под вопросом, если бы *grand-maman* не вышла замуж за ее деда. Впрочем, в такие детали Ина не вдавалась; она просто сожалела о том, что сама не из де Ладерсов, и об отцовской родне предпочитала помалкивать. Поэтому перед знакомыми она отрицала родство с дядей Антоном, компрометирующим ее старым пошляком, о котором рассказыва-

---

<sup>5</sup> Йонкер – низший дворянский титул в Нидерландах.

ли бог знает что, хотя велела своим детям, особенно молодым супругам Ван Вели, не упускать из виду этого богатого бездетного дядюшку, потому что в глубине своей мелкой душонки Ина была и хорошей дочерью, и хорошей матерью: она бы очень хотела, чтобы дядя Антон оставил наследство – интересно, какое же у него состояние? – именно ее детям. А еще этот дядя Даниэль, живший в Ост-Индии и женатый на тамошней *нонне*<sup>6</sup>, он тоже часто приезжал в Голландию; папа вел с ним дела. Что ж, Ина только радовалась, что дела идут хорошо, ведь это означает доход, но лучше бы дядя Даниэль и его толстуха-жена, тетя Флор, сидели себе на Яве и спокойно вели дела по почте, потому что оба выглядят ужасно непрезентабельно: дядя стал совсем не похож на европейца, а за полукровку-тетю ей было просто стыдно! И еще в Париже была тетушка Тереза Ван дер Стафф, которая, прожив бурную жизнь, обратилась в католичество, что тоже весьма эксцентрично... Де Ладерсы всегда принадлежали к валлонской<sup>7</sup> церкви, и д'Эрбуры тоже: валлонская церковь – это куда более изысканно, чем католицизм, так что в гаагском обществе лучше всего... вообще не упоминать о тете Терезе. И наконец, эта ужасная тетя Отилия Стейн де Вейрт, живущая, увы, здесь, в Гааге: трижды выходила замуж, дважды

---

<sup>6</sup> Нонна – (в Индонезии) девушка или молодая женщина, в чьих жилах течет смешанная кровь.

<sup>7</sup> Валлонская церковь – разновидность реформатской церкви в Нидерландах. В валлонских церквях служба велась на французском языке.

разводилась; ее дочь, певичка, пошла по скользкой дорожке, а сын сочинил два непристойных романа; нет, для Ины д'Эрбур это просто невыносимо, это настолько неблагопристойно и неаристократично, и хотя она в обществе никогда ни слова не говорила о тете Отилии с ее тремя мужьями – и ведь все трое живы! – все ее знакомые были в курсе дела. Думая о тёте Стейн де Вейрт, Ина д'Эрбур неизменно закатывала свои аристократические глаза и тяжело вздыхала и выглядела в этот момент, охваченная отчаянием, как стопроцентная представительница семейства Эйсселмонде. Она сама считала, что в ее жилах течет больше голубой крови ее матери, в девичестве Эйсселмонде, чем простецкой отцовской, дерксовской. Единственная дочь, она еще совсем девочкой, благодаря тетушкам Эйсселмонде, вращалась в куда более изысканных кругах, чем круг общения отцовского семейства, если это вообще можно назвать «кругом общения», ведь Дерксы, многие из которых служили в Ост-Индии, были темными лошадками: в Гааге они оставались в некоей изоляции, имели совсем мало знакомых, и даже ее матери, как она ни старалась, так и не удалось выдвинуть папу на первые роли, добиться, чтобы он, выросший на Яве, занял высокую должность в колониальной администрации. Нет, отца, от природы молчаливого и робкого, было не переделать, и хотя он, мягкий и уступчивый, сопровождал супругу во время важных визитов, хотя давал, как положено, обеды и сам ходил на обеды к другим, он оставался самим собой: скромным делом-

вым человеком, с подорванным здоровьем и надломленной душой; в его глазах и складках у рта читались боль и скорбь, но он никогда не жаловался и был очень скрытным. Теперь Харольд Деркс стал высоким, худым стариком, его надломленность и молчаливость с годами только усилились, их уже невозможно было скрывать, он разговаривал только с доктором, и то мало, а с другими молчал, никогда не произносил ни слова о себе, даже с братом Даниэлем, часто приезжавшим в Голландию по делам, которые они вели совместно.

Ина д'Эрбур была хорошей дочерью; когда отец заболел, она ухаживала за ним точно так же, как вела все хозяйство в доме: по правилам и даже с душой. Но все же она нередко спрашивала себя, не была ли ее мать разочарована в браке, ведь денег отец зарабатывал немного, несмотря на свой бизнес с братом в Ост-Индии. Да, в смысле денег маме не повезло, как никогда не везло в смысле денег самой Ине. Но когда и ее мужу, Леопольду д'Эрбуру, тоже не повезло с деньгами – он окончил юридический факультет и сначала подумывал о карьере дипломата, но, несмотря на свой аристократизм, не ощущал в себе необходимых для этого талантов и теперь был адвокатом без практики, – Ина после нескольких семейных сцен решила, что таков ее удел – всегда мечтать о деньгах и никогда их не иметь. Теперь они жили в большом доме, отец был очень щедр и полностью оплачивал обучение Поля в Лейденском университете, но все равно денег не хватало, а ей бы так хотелось иметь их больше, много-

го-намного больше. Поэтому она и старалась любезничать с тетушкой Стефанией де Ладерс и даже с дядей Антоном. Но рок продолжал ее преследовать: дочь Лили вместо того, чтобы выждать время и сделать хорошую партию, в двадцать лет так влюбилась во Фритса Ван Вели, офицера-молокососа без гроша за душой, что Ина ничего не могла поделать, особенно после того как папа высказал свое мнение: «Пусть дети будут счастливы...» Папа пообещал давать им деньги на жизнь, но весьма скромную, и все же Фритс с Лили поженились, и у них скоро-скоро родился сын. Единственное, чего смогла добиться Ина, – это чтобы они дали мальчику имя в честь тетушки Стефании. «Окрестить его Стефанусом?» – испуганно воскликнула Лили. Да, именно так, а сокращенно звать его «Стеф», это хорошо звучит, а если вы назовете его Этьеном, тетушке наверняка не понравится. Больше всего Ина хотела бы дать ему два имени: Стефанус Антон, но Фритс с Лили на это не согласились.

Ина д'Эрбур сформулировала для себя принцип никогда не разговаривать о деньгах и о родственниках, но так как следование принципу – дело сложное, в доме у д'Эрбуров постоянно толковали о деньгах и очень часто о родственниках. Это были благодарные темы для бесед между Иной и ее мужем, а теперь, когда стало известно о помолвке Лота Пауса с Элли Такма, разговор продолжился сам собой, вечером, после ужина, когда Харольд Деркс молча сидел и смотрел в пространство.

– Интересно, сколько у них денег, как вы думаете, папа? – спросила Ина.

Старик сделал неотчетливый жест рукой и продолжал молчать.

– У Лота, разумеется, состояния никакого, – сказал д’Эрбур, – ведь его родители живы. Он кое-что зарабатывает своими статьями, но не слишком-то много.

– А сколько ему платят за статьи? – спросила Ина, которой очень хотелось узнать правду.

– Понятия не имею! – воскликнул д’Эрбур.

– Может быть, ему выделит какую-то сумму его отец? Он ведь живет в Брюсселе, да?

– Да, но у Пауса-старшего и у самого ничего нет!

– Или тетя Отилия, она же ведь получила свою долю отцовского наследства. А у Стейна в кармане ветер, правда, папа? Впрочем, с какой стати Стейн должен давать Лоту деньги...



# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.